

Виктор Гусев-Рошинец  
*Вкус крови*

Рассказы. Повесть



Виктор Гусев-Рощинец

**Вкус крови. Рассказы. Повесть**

«Издательские решения»

**Гусев-Рощинец В.**

Вкус крови. Рассказы. Повесть / В. Гусев-Рощинец —  
«Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-745124-0

Авторский сборник рассказов, в художественной форме отражающих современную российскую действительность на фоне окружающего её мира.

ISBN 978-5-44-745124-0

© Гусев-Рощинец В.  
© Издательские решения

## Содержание

Хромые внидут первыми	6
Соната вентейля	9
Это было в краснодаре	12
Времена	15
Степь	19
Анна	22
Вкус крови	25
Забыть Палермо	27
Декабристы	30
Аглая	33
Марго	37
Письмо	41
Быстрый или мёртвый	43
Пианист	47
Старик	50
Через реку и к той деревне	53
Конец ознакомительного фрагмента.	62

# **Вкус крови**

## **Рассказы. Повесть**

**Виктор Гусев-Рощинец**

*Большинство людей влачит жизнь,  
исполненную тихого отчаяния  
(Г. Д. Торо, «Уолден, или жизнь в лесу»)*

© Виктор Гусев-Рощинец, 2018

ISBN 978-5-4474-5124-0

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

## Хромые внидут первыми

Когда я впервые увидел её – лет двенадцати – сердце моё сжалось от боли. Это случилось на сквере улицы Полковой, что в Марьиной Роще. Я сидел на Майдане (так у нас зовётся площадка перед эстрадой) и пил пиво, беседуя со старым приятелем, таким же как я местным уроженцем. Мы с ним много чего тут пережили. А главное – Великую отечественную войну. Вспоминали. Было что. Выросли в одном дворе. Любимым местом детских игр была свалка военной техники, что простиралась вдоль железной дороги от Шереметьевского моста до платформы Станколит. Её пожирал в своих плавильных печах стоящий тут же заводик под названием «Вторичный алюминий». Алюминия было много. Мы искали порох, гильзы, снарядные капсули. Этого тоже было много. Чем-то стреляли, что-то взрывали. Но не о том речь.

Девочка шла в школу. Она была очень хорошенькая, но.. приволакивала ножки. Полиомиелит. Мы даже пиво пить перестали. Замолчали. О чём говорить... Это сейчас такие картины можно созерцать ежедневно. Их исправно преподносит нам телевизор. Приучает спокойно смотреть на искалеченных детей, их убийства, страдания. Мой же рассказ – ещё из века двадцатого. Тоже конечно был кровавый век, но всё же старался щадить нервы граждан, запрещая демонстрации подобных зрелищ.

В старости годы пролетают быстро. Я тоже стал приволакивать ноги, и только теперь понял как это обременительно. А девочка очень быстро – на мой взгляд – стала девушкой, настоящей красавицей, но... Я продолжал её встречать – она жила, видимо, в одном из соседних домов. Мой друг-собутыльник умер, и теперь я в одиночестве сживал на майдане с банкой крепкого пива.

И вот в один из таких дней – после некоторого перерыва – я увидел её и восхитился – она была беременна! Она шла за покупками, и теперь даже походка её не портила, а придавала некое странное очарование. Так бывает обаятельным мужество человека, приподнявшегося над собственной судьбой.

На некоторое время она вновь исчезла из поля моего зрения. Я подсознательно ждал её. И наконец дождался. Теперь она шла с коляской, в которой лежал младенец. Преодолев собственную неловкость, я встал, подошёл к ней и заглянул в коляску.

– Мальчик? Девочка? – спросил я.

– Девочка, – сказала она.

Видимо, лицо моё тоже было хорошо знакомо ей. Она совершенно не смутилась, как будто только и ждала моего вопроса.

– Присядьте, прошу вас, – я жестом увлёк её к своей скамейке.

Она не противилась. Мы присели.

– Мы же давно знакомы, – сказал я, – верно?

– Да, конечно, – сказала она, – в одной деревне живём.

Умна, подумал я.

– Знаете, – сказал я, чтобы как-то завязать разговор, – когда я был мальчишкой, здесь и была настоящая деревня. А до того ещё на соседней улице, – она тогда называлась Александровская, – стоял дом моего деда, где он держал трактир. Ну и жил там же, на втором этаже.

– Неужели правда? – она искренне удивилась, – и его можно посмотреть, этот дом?

– Нет. После войны всю Марьину Рощу перестроили, и деревня стала городом. Но что из этого лучше...

Она удивлённо взглянула на меня, но ничего не сказала. Девочка в коляске заплакала.

– Пора кормить, – сказала моя собеседница.

Она покачала коляску. Ребёнок умолк.

– Как вас зовут? – спросил я.

Она назвала себя.

– Вы замужем? – я продолжал настаивать, исполненный любопытства.

Она улыбнулась. Помолчала.

– Я вас понимаю.

Она ещё помолчала. Я ждал. И наконец, видимо преодолев какое-то внутреннее сопротивление, она стала рассказывать. Вот что я узнал.

Она была единственным ребёнком в благополучной семье, но, как это нередко случается, благополучию пришёл конец, когда в возрасте шести лет она заболела полиомиелитом. Это была паралитическая форма болезни, приведшая к поражению мышц – сгибателей и разгибателей стоп. Хотя всё началось как простое расстройство желудка. Где она могла заразиться и каким образом, так и осталось загадкой. Понятно, что пережили при этом родители. Но об этом она не стала рассказывать. Из-за болезни она пошла в школу на год позже других детей и оказалась в классе самой старшей из учеников. Уже умела читать и писать. Училась легко. Болезнь сделала её легко ранимой, но и отзывчивой. Одноклассники её любили, но близких друзей так и не случилось. Дети инстинктивно сторонятся всего, что им чуждо или заставляет испытывать слишком сильные чувства – жалость, сострадание, зависть, угрызения совести. Страх. Она, вероятно, подсознательно это принимала и оттого не тяготилась одиночеством. Она его любила.

После школы поступила в Технологический университет «Станкин». Это неподалёку от нас, у Савёловского вокзала. После его окончания стала работать в Институте имени Духова, что в полчасе езды не пятнадцатом номере. Эту фирму я хорошо знал по прежней работе. Понятно, выбирать места учёбы и работы не приходилось – преодолевать расстояния оставалось нелегко. Но в общем жизнь шла своим чередом.

И вот что однажды случилось. Она шла в районную поликлинику, чтобы закрыть больничный лист после болезни. Ничего серьёзного, простуда. Но дело в том, что самый короткий пролегающий туда путь связан с необходимостью перехода через железную дорогу. А переход этот тогда ещё не был, как сейчас, надлежащим образом оборудован и представлял собой немалую опасность. Не доходя до путей, она увидела стоящего в нерешительности молодого человека, как она поняла, в ожидании помощи. Он был слепым. Как не подать руку? Она перевела его через пути. Они пошли рядом. Разговорились. Теперь он уверенно шёл, держа её под руку. Дом, в котором он жил, оказался рядом с поликлиникой. Расставаясь, они обменялись телефонами.

Он позвонил в тот же вечер и пригласил в гости. Она не была готова к этому. Первый мужчина в её жизни, назначивший свидание! Вам это что-нибудь говорит? – спросила она. Да, сказал я, очень многое.

Ещё при той первой встрече, продолжала она, когда переводила его через железнодорожные пути, он сказал что-то про «запах женщины, которого никогда не вдыхал». Это смутило её. Должно быть, вы красивы, сказал он, я вас смущаю? Да, немного, сказала она, но я некрасива. Не верю, сказал он, внутреннее зрение меня никогда не обманывает. Она подумала тогда, что он не мог не заметить её нелёгкой походки. А промолчал, не иначе, потому, что у слепых другие, более верные представления о женской красоте. Эта мысль вселила в неё неожиданную уверенность в себе.

Они договорились о встрече. Прошло несколько дней. Потерянных, сказала она. В субботу с утра она собрала небольшую дорожную сумку, попрощалась с родителями и ушла из дома. Навсегда. Только перед тем подвела их к окну – это был одиннадцатый этаж – и, указав на голубую башню за железной дорогой, сказала. «Вот туда».

Он вышел её встретить. Они обнялись. Их жизнь вошла в новое, общее русло.

Она замолчала. Я ждал.

– Но это ещё не всё, – сказала она, – мне предстояло пережить нечто такое, о чём я не могла и подумать. Он жил один. Его мать приходила помогать ему по хозяйству два раза в неделю. При моём неожиданном появлении она только с интересом и понятным удивлением на меня посмотрела, но ничего не сказала и поторопилась уйти после того как мы были представлены друг другу моим будущим мужем. Несколько слов о нём. Наши истории болезней оказались в некотором отношении схожи. В раннем детстве он ослеп в результате какой-то врождённо болезни, хотя мог различать свет и тьму и даже что-то вокруг себя, но эта способность была столь мала, что не имела какого-либо практического значения.

Она ещё помолчала. Тут я не выдержал.

– Так вы замужем! Это прекрасно!

– Да, – сказала она, – мы стали жить вместе и вскоре поженились. Мы были счастливы. Но тут вмешалась современная техника. Вы знаете, что такое «бионический глаз»?

Нет, я впервые о таком слышал

– Это искусственная зрительная система для восстановления потерянного зрения. Она сложна и дорога, и я не берусь объяснять вам её устройство. Родители мужа – а с его отцом я познакомилась позже – оказались весьма состоятельными людьми. Они выписали из-за границы это чудо, в глаза мужу вживили протезы сетчатки, снабдили специальными очками, видеопроцессором и .... он прозрел!

Для неё это было как удар грома. Он увидит её ноги! Её походку! Когда ещё в больничной палате стали проводить первую пробу этой системы, она вышла в коридор. Сидела, ждала, молилась. Что это будет? Новая жизнь? Но какая? Ей показалось – его отнимут у неё. Уже отняли! Отняли отца у той маленькой Жизни, которая зародилась в ней. Ей показалось, что она умирает. Чувство, вероятно знакомое многим, пережившим потрясение.

Когда её позвали обратно в палату, она собрала все свои силы, всё присущее ей мужество, не раз помогавшее преодолевать жестокую несправедливость судьбы. И пошла, ещё сильнее, против обыкновения, волоча обессилившие ноги. Расстояние от двери до кресла, где он сидел, показалось ей бесконечным. Крестный путь – вот так это и называется, подумала она.

Не дойдя до него нескольких шагов, остановилась. Стояла, ждала. Все вокруг молчали. Врачи, его родители. Ждали.

Он долго всматривался в неё. Так вероятно стараются разглядеть ожившее привидение.

Потом снял чудо-очки, отдал врачам. Сошёл с кресла, стал на колени, нащупал её искалеченные ноги. И в знак благодарности на каждой запечатлел поцелуй.

Она хотела ещё что-то добавить. Но тут снова заплакал ребёнок. Пора кормить, сказала она. Встала и удалилась, растворившись в лучах проглянувшего из-за туч солнца. Она была счастлива. А я ещё посидел немного, размышляя над словами библейского пророка о хромы, которые первыми войдут в рай. И, признав его правоту, тоже отправился домой. Ведь Ад и Рай – это всё на земле.

Вот такая история.

## Соната вентейля

*«Для того чтобы испытать нежность,  
ему нужна была Альбертина»  
(Марсель Пруст, «Беглянка»)  
«У меня есть враг – это мой муж»  
(Сьюзен Соннтаг, «Заново рождённая»)  
«Сартр в точности соответствовал тому,  
что я пожелала себе в пятнадцать лет:  
в нём я нашла те же накалённые страсти  
что и в себе»  
(Симона де Бовуар, «Вспоминания  
благовоспитанной девицы»)*

Драматическая «история любви», свидетелями которой недавно стали я и мой друг юности Н. заставила нас глубоко задуматься. В Государственном Институте Искусствознания, где Н. читает курс по истории зарубежной музыки, к нему однажды после занятий подошёл студент и задал вопрос, на который у моего друга – увы! – не нашлось ответа. Он был этим немало расстроен и обратился ко мне за помощью. Вопрос юноши состоял в следующем: что известно уважаемому лектору о музыкальном произведении под названием «Соната Вентейля»?

Много лет назад, ещё будучи подростками, я и Н. учились музыке в частном, как выражались раньше, «пансионе», у музыкальной бездетной пары пианистов, где кроме нас брали уроки ещё два мальчика и две девочки. Пути наши вскоре разошлись, но память о блестящих импровизированных концертах наших учителей, которые давались иногда ими для поддержания нашего музыкального энтузиазма, осталась в нас навсегда. Продолжилась и наша дружба. Но не о том речь.

Присылай ко мне, сказал я.

Прошло несколько дней, и перед моими глазами предстал молодой человек лет двадцати пяти, в чьей мужской стати безошибочно угадывались воля и твёрдость характера, обязанные, как правило, спорту. Тут я ошибся, но не намного – он оказался цирковым гимнастом, который – пошутил он – на старости лет решил переменить профессию. Однако выступать ещё не бросил, ибо намерен обзавестись семьёй, которую – согласились мы – надо кормить. Так что «Соната Вентейля»? – спросил я, когда мы расположились наконец для беседы. И вот что он рассказал.

Около года назад после одного из выступлений на манеже к нему в гримёрную пришла молодая женщина, чтобы выразить восхищение его номером. Однако музыкальное сопровождение оказалось ей не по вкусу

– Слишком бравурно, сказала она, надо было бы что-то лирическое, что-нибудь похожее, например, на сонату Вентейля. И быстро ушла. Но позвольте я расскажу всё по порядку.

Я не возражал. Он продолжил рассказ.

– Во время этого нашего краткого разговора меня отвлек постановщик номера. Когда же я вернулся, нашёл на столе её визитную карточку. Вот так это было.

Он замолчал. Прервать его молчание пришлось мне.

– И что? – спросил я, уже теряя терпение.

– Она произвела на меня большое впечатление. Была необыкновенно хороша. Вы же понимаете – описывать внешность женщины – пустое занятие. Всё, как говорят, зависит от контекста. Но когда я вернулся в уборную, в помещении витал тонкий аромат духов, обязанный, как я быстро понял, её визитке. Это обстоятельство странным образом поразило меня. Есть нечто такое, называемое на нашем языке «любовь с первого взгляда». А то что испытал я,

можно было бы назвать любовью с первого вдоха. Но ведь всё надо пережить. И я выжидал несколько дней, пока ни укрепился в решении назначить ей встречу.

Он снова замолчал. Ушёл в себя. Теперь я не торопил его. Когда он заговорил, у него на мгновение сорвался голос, как это бывает при сильном нервном напряжении. Соната Вентейля, напомнил я.

– Да, конечно, прошу прощения. Мы встретились, и события развивались так стремительно, что о музыке вспомнить уже не пришлось. Через несколько дней мы зарегистрировали брак. При желании, несмотря на бюрократические препоны, это можно устроить. Срочный отъезд, командировка и так далее. Я сослался на тяжёлую болезнь матери. Она действительно была больна.

– Она умерла? – спросил я, не выдержав и поняв уже, что выслушаю некую драматическую повесть.

– Да, – сказал он, и это непосредственно связано с моей судьбой, которая очень её заболела. Мой отец – человек состоятельный, он купил нам квартиру, медовый месяц мы провели в Италии, и вернувшись, зажили мирной и счастливой обыденной жизнью. Жена работала манекенщицей, я продолжал выступать. Мы ждали ребёнка.

Соната Вентейля, напомнил я.

– Хорошо, буду краток. Она от меня ушла. Просто сбежала. Исчезла так же внезапно, как и появилась. На телефонные звонки не отвечала.

Такого поворота я не предвидел. Хотя нет, что-то вроде того и ждал наверное. Уже возникли какие-то неясные подозрения.

– Куда? К кому? – воскликнул я в сердцах.

– Не знаю, – сказал он. Оставила только записку. Вот она.

Он достал свёрнутый клочок бумаги и протянул мне. На ней было начертано: «Соната Вентейля».

Но я не имел права нарушать законы драматургии. Хорошо, сказал я, будем разбираться. И мы заговорили... о Прусте.

– Ваша жена оказалась начитанной дамой, – начал я.

– Да, – ответил он, – в отличие от меня. В детстве я мало читал. Всё время отнимали тренировки. Цирковое училище – это тяжёлый труд.

– «Соната Вентейля», – продолжал я, – одна из главных, если можно так сказать о прозе, «музыкальных тем» прустовского романа «В поисках утраченного времени». В этом смысле весь роман пронизан музыкой. Но Вентейль – имя вымышленное. Музыкальным прообразом считают сонату для скрипки и фортепиано Сен-Санса.

– Хорошо, – сказал молодой человек, – тогда, я думаю, в её записке содержится какой-то намёк.

Я вынужден был согласиться с ним и посоветовал прочесть первоисточник, заметив что это тоже будет нелёгкий труд. Он поблагодарил меня и ушёл.

Прошёл ещё год. В один из осенних ненастных дней после долгого перерыва мне позвонил N., чтобы напомнить, как он сказал, о себе, а заодно сообщить новость, которая имеет отношение к нам обоим: молодой человек, о котором мы вместе год назад позаботились, во время недавнего выступления сорвался с трапеции и сильно пострадал. Но к счастью остался жив. Лежит в такой-то больнице.

Я немедленно отправился по названному адресу.

Он лежал в отдельной палате. Когда я вошёл, увидел его перебинтованным. Но с книгой в руках! Это был Пруст!

После обмена замечаниями о здоровье я спросил: как это случилось?

Оказалось, что накануне того злосчастного выступления он наконец понял что произошло в его жизни. Он потерпел поражение! Благодаря Прусту он наконец докопался, как он

сказал, до истины. Его сбежавшая жена – Альбертина! Беглянка! Это открытие так его поразило, что он не спал всю ночь. Это и стало причиной несчастного случая на арене.

– Помните, как Марсель подслушал слова Альбертины, адресованные её любовнице? «Ты возносишь меня на седьмое небо!».

Да, я их помнил.

– Но ведь *твоя* Альбертина, – сказал я, – с самого начала знакомства пыталась дать тебе понять – кто она такая. Она тебя по-своему готовила к удару, который ты должен был пережить. Но ведь не её вина... что поделаешь... такое случается, и очевидно не редко. Это она и пыталась донести до тебя, чтобы сделать удар менее болезненным.

– Когда у неё родился ребёнок, – сказал он, – она прислала мне сообщение. Она назвала его – Марсель!

– Поздравляю! – воскликнул я, – у тебя сын! Надеюсь в метрике она указала отца. Думаю, что только это и было ей нужно.

– Не знаю, – сказал он.

Мы ещё немного побеседовали и я ушёл, заручившись обещанием о встрече после его выздоровления.

Вскоре, как мы и договаривались, он явился без предупреждения. Повинуясь, пояснил, некоему порыву, в котором более всего было чувства благодарности. Не стоит, сказал я. Это была всего лишь моя обязанность. К тому же я сам был заинтригован.

Когда же он вошёл, я был поражён происшедшей в нём переменой. Во-первых, он поседел. Но это не главное. Во всём его облике читалась усталость.

– Я получил диплом искусствоведа. И вновь на арене – теперь как режиссёр-постановщик.

Я поздравил его. Он помолчал.

– Но это не главное. Она вернулась ко мне. Альбертина, будем так её называть. Ко мне вернулась моя беглянка. Я пытался её возненавидеть, но – не смог. Всё как в романе – «чтобы испытать нежность...» и так далее. Вы конечно помните. К тому же маленький Марсель, он очарователен! Теперь они мои «пленники». Не знаю, надолго ли.

Я посоветовал ему продолжить чтение классических «историй любви» и на прощание подарил томик Симоны де Бовуар. Такие же накалённые страсти, сказал я. Если что – прочти. Поможет.

Мы обнялись, и он ушёл.

Через некоторое время он прислал мне по почте билет в цирк. Представление называлось «Полёт валькирий». В роли Зигфрида выступал он сам. В расположенной неподалёку ложе я увидел даму с ребёнком. Альбертина, подумал я. Возможно, ошибся.

## Это было в Краснодаре

Она отличалась безграничной памятью. Способность такого рода редка до чрезвычайности, но в научной литературе можно найти примеры – портреты людей с безграничной памятью и описания их фантастических возможностей. Например в книге Льва Выготского, которая так и называется – «Человек с безграничной памятью». Что до этой истории, то в ней пойдёт речь о памяти зрительной

Лицо человека, однажды привлечшего её внимание, запечатлевалось в её памяти навечно

Она родилась в Краснодаре в 1935 году. Кто бывал в этом южном городе, конечно знаком с тамошними маленькими «итальянскими» дворишками, где все знают всё друг о друге и живут дружным семейством, разделяя и принимая близко к сердцу общие радости, горести, достижения и потери. Их дом на улице Шаумяна не был исключением

Была в этом доме, в этом дворе только одна особенность – один из квартирантов состоял профессиональным вором. Молодой человек лет тридцати, приятной наружности – он производил впечатление человека интеллигентного. Впрочем, в южных городах интеллигентные воры отнюдь не редкость – читайте Бабеля. Все знали, что он вор, но поскольку в доме никогда ничего не пропадало, не придавали тому значения

Когда они сталкивались во дворе, вор, – его звали Павел, – дарил нашей героине конфеты и гладил по головке. Это была взаимная симпатия

Осенью 42-го года Краснодар был оккупирован, и вскоре Павел стал полицаем. Вероятно, это было его собственным желанием

Краснодар – город многонациональный. Русские, украинцы, армяне, грузины, черкесы, адыгейцы. Евреи

Последним было приказано явиться на сбор у здания крайкома партии, взяв с собой ценные вещи. Это было объявлено по радио

Адвокаты, врачи, артисты, музыканты, – их знал весь город, – были расстреляны в Ковровой балке, в пойме Кубани

Это акция потрясла город. Павла долго не видели во дворе. А когда он всё же возник, все отметили, как сильно он изменился. Постарел. Поседел

Зима 42—43 годов выдалась необыкновенно холодной, снежной. Было голодно. Основным блюдом в их доме была кукурузная каша – мамалыга. По утрам мать наполняла ей тарелку и сажала за стол. Выйти из-за него разрешалось только при условии её опустошения. Как правило, она просиживала за столом не меньше часа, обливаясь слезами. Каша становилась солёной и ещё более отвратительной

По вечерам они раскалывали крашенные грецкие орехи – ёлочные украшения, – и если там оказывалось зерно, она наслаждалась его вкусом. Но большинство скорлупок были пусты

Это был двухэтажный дом с коридорной системой расположения комнат. В некоторых жили завоеватели, пользуясь расположением одиноких молодых хозяек. Никакого насилия. Почти что новый «галантный век»

Отсутствие водопровода (колонка во дворе). Отсутствие канализации – общий туалет во дворе, две кабинки, в каждой деревянное сиденье с дырой в бездонную, подозрительно пахнущую глубину. Завоевателей это на первых порах несколько смутило, но не надолго

На фонарных столбах по главной улице города – улице Ленина – можно было увидеть казнённых – повешенных «партизан», о чём оповещали прикрепленные к их одежде картонки с соответствующей надписью. Идя с матерью по дороге на рынок, она старалась рассмотреть этих несчастных, и они навсегда врезались в её память. Женщина в голубом пальто с меховым воротником. Бородатый старик в белой рубашке и чёрных шароварах. Молодой мужчина

в сером пиджаке. И ещё много других. Если посмотреть нашими глазами, то это было, вероятно, похоже на своего рода театр абсурда, где одним персонажам на смену приходят другие

Когда ранней весной сорок третьего завоевателей погнали на свою культурную родину, она, подпрыгивая со скакалкой по коридору, приговаривала негромко: «Ура, фрицы драпают, драпают, драпают». В ответ на её «провоцирующее» поведение вышел из комнаты Алины офицер, угостил, по обыкновению, конфеткой и сказал

– Драпаем. Но что делать, у вас так холодно, вернёмся, когда потеплеет

Офицер ей нравился – красивый. На том они и порешили. Она завидовала девушкам, которые ходили с завоевателями в кино

Вскоре город начали бомбить освободители. Это и вовсе было не страшно. Свои же! Она бегала в бомбоубежище. Там была своя детская компания. Мать оставалась дома

Завоеватели ушли, а с ними и некоторые русские красавицы

Для Павла и ему подобных пришёл час расплаты

Но ещё раньше, в самый разгар «новой жизни» случились и другие события, оставившие неизгладимый след в её памяти

Первое – облава на местном рынке

С тем что у неё ещё оставалась для обмена, мать пошла за чем-нибудь съестным. Внезапно рынок был оцеплен. Для выхода требовалось предъявить аусвайс. Прибежала соседка Даша. Беги скорей, сказала она, выручай мать, она оставила дома эту бумагу

Алька (так её звали и зовут по сей день – Альвина Николаевна Орден) схватила эту таинственную бумажку – благо знала ещё где лежит – и побежала на рынок. В оцеплении немцев было мало, большинство – полицаи. Она ткнулась к первому, кто оказался на её пути с просьбой пропустить к матери. Но то грубо оттолкнул её. Она побрела вдоль оцепления в надежде найти Павла. И, о счастье! – он был тут. Она бросилась к нему и обняла за ноги. И он тоже обнял её. Он помог ей найти мать. Он спас их от гибели

Второе, что потрясло её детское сознание, – это состоявшаяся после освобождения города прилюдная казнь предателей родины – тех кто сотрудничал с оккупантами. И всё на той же площади, где собирали полгода назад евреев

Мать приказала – не выходить из дома! А сама ушла на работу

Что было делать?!

Забегала соседка Даша и увлекла её за собой

Казнили через повешение. За спинами впереди стоящих она не смогла рассмотреть всех осуждённых. Только одного сразу выделила из них – того что оттолкнул её, не пропустив в оцепление, где находилась мать

Когда на него накинули петлю, он ударил солдата, который исполнял юбязанность палача, ногой в лицо

Павла в доме больше не видели. Говорили, что его постигла та же участь, но она не хотела этому верить. Она надеялась, что он убежал с немцами – как многие из тех кто с ними сотрудничал. Так ушёл, бросив дочь, отец её лучшей подруги Софы Гюльназарьян, державший ресторан на улице Ленина. После войны он оказался в Италии. И Софья уехала к нему. Но это уже другая история

Теперь, по прошествии семидесяти пяти лет Альвина Николаевна редко возвращалась мыслями к тем событиям давнего прошлого. А если это случалось, перед её мысленным взором возникали лица тех людей, что постигла эта одновременно жалкая и жестокая участь

И вот сменилась эпоха. Мир опутала некая паутина, сделавшая доступным вечность во всей её полноте и многообразии. Ведь она, вечность, как сказал кто-то из великих, не что иное как вертикаль по отношению к горизонтали нашего повседневного существования

Сын подарил ей нечто под названием «планшет». Читатель наверняка знает что это такое. И вот однажды, открыв этот «ящик Пандоры» (так его называла), она наткнулась на старую кинохронику, запечатлевшую ту давнюю картину краснодарской казни изменников родины

Камера прошла по лицам осуждённых. И вдруг среди них она увидела Павла с брошенной на шею петлёй

Она закрыла лицо рукам и заплакала

## Времена

*«Ну и времечко было!  
Эпоха была!  
Времена!  
Впрочем, было ли что-нибудь  
Лучше и выше  
Чем то правое дело  
Справедливое наше  
Чем Великая Отечественная Война?»  
(Борис Слуцкий)*

Эту удивительную историю рассказал мне мой попутчик в поезде Калининград-Москва, когда летом 2005 года я возвращался из санатория в Светлогорске, бывшем немецком Раушене. Тысячу с небольшим километров, что могло бы занять на современном поезде не более пяти часов, мы преодолевали сутки. Шесть – с въездом и выездом – границ! И на каждой длительные стоянки. Россия, Литва, Белоруссия, снова Россия

Он был уже стар – назову его N, – лет восьмидесяти, но крепок. Ветеран Великой отечественной войны. Разговор начался вот с чего. Мы вспомнили, как Пётр Первый купил территорию Прибалтики у короля Густава Шведского за два миллиона талеров вместе с населением. Впрочем, это история запутанная, но не о том речь. Если бы на нашем пути не стояла Литва, дорога была бы гораздо приятнее. И вот – констатировали мы с грустью – отжали Россию от Балтийского моря. И что? Кто виноват? А наш Калининград – в клещах! Когда на столе появилась бутылка коньяка, он стал рассказывать

– Я воевал на Волховском фронте. Это были длительные тяжелейшие бои. Когда мы наконец перешли в наступление, первой была Польша. Там было разрушено абсолютно всё. Отступающие немецкие войска просто не оставили камня на камне. Польшу мы прошли быстро. Двадцать пятого марта подошли к Данцигу – польскому Гданьску. Тут была загвоздка. Но Рокоссовский действовал в лучших суворовских традициях. «Ребята, вот крепость! В ней вино и бабы! Возьмёте – гуляй три дня. А отвечать будут турки!». Ну да, гуляли – веселились, подсчитали – прослезились. Но это потом уже. Очень большие были потери. В моей штурмовой группе в живых осталось меньше половины состава. А дальше – Восточная Пруссия. Тишь да гладь и божья благодать. Маленькие уютные городки, красота, просто сказки венского леса. Всё в целости. Однако впереди Кенигсберг. Непрístupная крепость. Ну так же как Перед Данцигом. «Ребята!...» И так далее. Это уже девятого апреля

Он прервал рассказ. Помолчал. Налил. Мы выпили не чокаясь. Понятное дело

– Когда всё отгрохотало, – продолжил он наконец свой рассказ, нам дали отдохнуть. Правда, уже не три дня, а неделю. Надо было ждать пополнения... Сами понимаете... Я пошёл искать пристанища где-нибудь недалеко от вокзала, чтобы не заплутаться. В одном из переулков мне приглянулся небольшой двухэтажный особнячок с вывеской «Аптека». Каким-то чудом в этом квартале несколько домов избежали разрушения. Резная металлическая ограда, калитка в палисадник не заперта. Я вошёл, поднялся по ступенькам – их было три, – постучал в дверь. Мне открыла молодая девушка, лет восемнадцать, подумал я.

Он снова помолчал. Я не торопил его. Скорее был удивлён тем, что он улыбается

Мы ещё выпили. И тут он наконец подошёл к самому главному

– Я был молод, силен, жизнерадостен. Усталый конечно, грязный, голодный. Она, видимо, была готова к самому худшему. Знала уже что твориться в городе. С её стороны это была настоящая отвага. Может быть, обыкновенная покорность судьбе. Или – ясновидение

Он усмехнулся, хитро посмотрел на меня, как бы заостряя моё внимание на последнем

– Мне отвели одну из многочисленных спален на втором этаже, где обитала семья: отец-аптекарь, мать, дочь. В подвале было оборудовано бомбоубежище, где они и переждали нашу артподготовку. Мы познакомились. К тому времени я уже неплохо говорил по-немецки. Девушку звали Марика. Она была необыкновенно красива. А я в свои двадцать с лишним ещё оставался девственником

Он опять помолчал. Почесал в затылке. Словно размышлял – сказать, не сказать

– Солдатики постарше советовали: пользуйся случаем, бери любую, всё твоё. Потом жалеть будешь. Нет, понимаете, это было не по мне. Хотя... примеров было много

– Ещё бы не понять, – сказал я, – жестокое было время

– Когда через два дня я немного пришёл в себя – отмылся, отоспался, отгелся, – а всем этим делом руководила Марика, – первое произведенное ею впечатление завладело мной безраздельно. Я словно выпал из реальности. Меня окружали книги, музыка – это было что-то неземное. Оглушало, как иногда оглушает тишина. По утрам Марика прибирала мою комнату. Мы перебрасывались какими-то замечаниями – погода, новости, мои дневные планы. И вот был какой-то момент, когда даже не соприкоснувшись, мы оба с волнением ощутили ту загадочную мгновенную близость, что связывает порою теснее, чем закадычных друзей или давних любовников. Это было как удар молнии, освещающий все самые тёмные закоулки дома. Или – души. Оба мы почувствовали смущение. Марика быстро вышла из комнаты, а я стал собираться для прогулки в штаб дивизии, где мне должны были вручить награды. Какие? – этого я ещё не знал. Ну, к вечеру вернулся, показал ей – орден Красной звезды и медаль за взятие Кенигсберга. Марика была в восторге. Кажется, радовалась больше меня. За ужином всей семьёй отметили это событие. Папа с мамой были, правда, немногословны и поторопились выйти из-за стола

Он снова помолчал. Мы ещё выпили. Я уже понял к чему клонится, но, разумеется, не торопил рассказчика

– Мы с Марикой ещё немного посидели за столом и разошлись. Я ушёл в свою комнату и лёг. Близилось к полуночи. Я лежал без сна. Наконец набрался решимости встал и пошёл. Её дверь была не заперта. Она читала лёжа при свете лампы на ночном столике. Отложила книгу. Ждала меня? Не знаю. Я подошёл к кровати и стал на колени. Ну, дальше чего рассказывать...

Что до меня, то я оценил его деликатность. Это как у Бунина – в рассказах о любви не забывают никогда о «фигуре умолчания». Она будит воображение читателя

– На подступах а Берлину я был тяжело ранен. Для меня война была кончена. Наступила новая пора – приспособиться к мирной жизни. Тоже было непросто. Оправиться от ран. Не спиться. В этом мне повезло. Но это уже другая история

– Ладно, – сказал я, – это другая. А та, – первая, – без продолжения?

– Если бы не было продолжения, – он хитро усмехнулся, – то я бы и не начинал. Наверное знаете не хуже меня – жизненные истории порой бывают покруче литературных. Кстати, вот о чём забыл сказать. Когда нас через десять дней подняли по тревоге, Марика разрыдалась. «Тебя убьют, тебя убьют...» Она повисла у меня на шее, не отпускала. Тогда я отдал ей эти полученный там награды и сказа – сохрани. Если не убьют – вернись. А убьют – тебе на память. Вырвался из её горьких объятий и убежал

Мы стали на литовской границе. По вагону прошла сначала молодая дама в форме и с собакой, искали наркотики. Потом молодые парни тоже в форме и с какой-то хитрой аппаратурой, на которой проверяли визы. Парни заставляли смотреть им прямо в глаза – сравнивали фото с оригиналами. Туалет на это время заперли. Поезд стоял два часа. Мы смотрели в окно. Какого-то несчастного высадили на пустую платформу. Вот так, сказал N., нас отблагодарили

– Ладно, проехали, жду продолжения, – сказал я.

– Я понимаю, – сказал он, – но прежде я расскажу, что произошло с этой семьёй после моего ухода, а потом – как я об этом узнал

Я не возражал

– После окончания войны в Восточной Пруссии началась депортация коренного населения. В том числе конечно и в Кенигсберге. Марика была беременна, о чём заручилась справкой в ближайшем советском госпитале. Там принимали местных жителей. С этой справкой, с моим наградным листом, орденом и медалью она пришла в городскую комендатуру на приём к заведующему Отделом переселения. Её встретил немолодой уже офицер Смерша. Впрочем, точно не знаю. Но думаю, что этим занимались те самые ребята, которых мы так боялись на фронте. Им палец в рот не клади. Марика объяснила – зачем. Она попросила оставить её семью на жительство в городе. Офицер был невозмутим. Он вышел в другую комнату и долго отсутствовал. Вернулся. Сел за свой стол, долго молчал, перебирал бумаги. Потом наконец заговорил

– Он жив. Лежит в госпитале. В Москве. Залечивает раны. Он вернётся. Ждите. Желаю счастья. Вот вам вид на жительство

Мы помолчали

– Это похоже на святочный рассказ, – сказал я.

– Похоже, – сказал Н, – что поделаешь. Но не всё же раскапывать могилы. Однако вот вам и подобающий конец. Жизнь пролетела быстро Любовь, семья, дети. Я сказал уже – мне повезло. Ещё Монтень сказал: стареть – это прекрасно. Я, старик, с этим согласен. Но в старости живёшь воспоминаниями. Я уже был вдовцом... Так случилось...

Он помолчал. Я же со своей стороны не хотел проявлять излишнего любопытства

– И вот, не знаю почему, меня вдруг стало тревожить то, одно... короче, моя фронтовая любовь. И я отправился в Калининград. Выйдя на привокзальную площадь, не узнал её. Всё – новая застройка. Пошёл прямо на север по главному проспекту, теперь он назывался «Ленинский». Как тогда – не помню. Моим ориентиром был Кенигсбергский собор. Его было видно издали. Теперь что-то стал узнавать. И ту улочку – теперь она звалась «Портовая» – не мог не узнать, на перекрёстке, не доходя одного квартала до собора. И что же вы думаете! – как у Блока! – Ночь, улица, фонарь, аптека, бессмысленный и тусклый свет, живи ещё хоть четверть века, всё будет так, иного нет... Шучу, конечно. То было утро, но аптека была на месте, только прописана по-русски

Тут нас опять прервали литовские пограничники – выезд из Еввросоюза. Всё то же самое – смотреть в глаза, дама собачкой и прочее

И тут мой попутчик не выдержал

– Нет на них Смерша!

Он скрежетнул зубами. Мы ещё выпили. Молча

– Ну ладно, – продолжил он свой рассказ, – немного уже осталось. Короче, как и тогда, калитка была не заперта, я вошёл, поднялся по ступенькам, нажал на звонок. Мне открыл юноша лет восемнадцати. Моя молодая копия! Дед, заходи, сказал он, мы тебя ждали. Я вошёл. За накрытым столом сидели – кто бы вы думали? – моя дочь с мужем! Я конечно забегаю вперёд. Я узнал это, когда они представились – Алисия, Алексей. Внука звали Николаем. Во главе стола сидела красивая молодая дама, это была моя Марика. Ей было всего лишь пятьдесят пять лет. Мы обнялись. Ну... вот и всё

– И это всё? – спросил я.

– На следующий день мы с ней обвенчались в Кенигсбергском соборе. В его левом приделе проходят богослужения

– Она оказалась ясновидящей? – спросил я.

– Да. Поэтому и ждала меня. Знала, что вернусь. А способность эту необыкновенную приобрела в результате сильнейшего нервного потрясения, испытанного тогда, незадолго до нашей встречи, при обстреле города

– Поздравляю вас! – воскликнул я, исполненный искреннего восхищения

– Спасибо, – он пожал протянутую мной руку, – но это венчание состоялось ровно двадцать лет назад. Тогда, кстати, ещё не было проблем с переездом. А теперь вот каждый год, чтобы навестить детей, внуков и правнуков от первого брака, трачу столько времени и нервов

– Вы прожили несколько жизней, – сказал я, – это даётся не каждому

Он грустно покачал головой

– Помните Хемингуэя? – Праздник, который всегда с тобой? —Может быть, вам покажется странным, для меня такой праздник – это война. Ему ведь в Париже тоже было не сладко – одиночество, безденежье. Праздник – это просто полоса жизни, насыщенная самыми глубокими впечатлениями

На белорусском вокзале перед тем как выйти на платформу мы обнялись. Так вот в жизни случается – против своего ожидания приобретаешь новых друзей

## Степь

*«У нас была великая эпоха»  
(Эдуард Лимонов)*

Подлетали к Тюратаму. Самолет заходил на посадку.

Кошкин заглянул в иллюминатор. Где же та памятная 41-я площадка? Все изменилось. Только степь осталась прежней. Бескрайняя. Могучая как все простое и загадочное. Целая жизнь отделяла его от того дня, когда он вот так прилетел сюда впервые, чтобы совершить нечто великое, героическое, что должно было войти в историю страны, став переломным моментом в ее жизни.

Аэродром явил себя не в пример большим, обзавелся современным аэропортом со всеми положенными ему атрибутами: таможней, багажными каруселями, контрольно-пропускными пунктами, всенепременной торговой суетой и даже небольшим рестораном.

В зале прилета их группу встречали. Молодой казах держал над головой табличку, на которой черным по белому было начертано нечто понятное, очевидно, только тем кто прилетел сюда с той же целью что и он, семидесятичетырехлетний профессор Петр Кошкин. Увидев ее, он даже вздрогнул, как мог бы наверное вздрогнуть от раздавшегося поблизости выстрела. «24.9.1960». На дворе стоял октябрь 2010 года.

В небольшой группе мужчин, которые стянулись к загадочному призыву, царило молчание. Все примерно одного возраста, Пожилые, сосредоточенные. Никто, очевидно, не был знаком. Не узнавали друг друга? Ждали.

По истечении положенного в таких случаях времени мужчина-проводник сделал знак следовать за ним, и все направились к выходу. Под козырьком, опоясывающим здание аэропорта, их ожидал автобус. Солнце клонилось к закату, степь дышала дневным настоем разнотравья. Ах, эти восходы и закаты в казахской степи! Когда гигантский огненно-красный шар всплывал над горизонтом, все на фоне его становилось мелким и незначительным, даже то, что пятьдесят лет тому назад возвели они здесь собственными руками, ценой упорного, изматывающего, многомесячного труда. Подготовленную к запуску межконтинентальную баллистическую ракету самоновейшей конструкции. Двадцатичетырехлетний инженер-«наземщик» Кошкин был мастер своего дела.

Нет, он ничего здесь не узнавал. Здание гостиницы, которое помнилось двухэтажной приземистой постройкой блочного типа, преобразилось в современную высотку, сверкающую остекленным металлом. Полвека не прошли даром. Еще бы, подумал он, *ведь они шагнули в космос!* Может быть, и тот, их первый неудачный шаг тоже не был напрасным? Было б так, если не цена за него заплаченная.

Регистрация не заняла много времени. Вновь прибывшие стали расходиться по номерам. Проводник еще в автобусе оповестил их о времени и месте завтрашнего сбора. Кошкин забрал свой чемоданчик и двинулся к лифту. Стоящий у входа в кабины человек в форменной одежде осведомился об апартаменте, но прежде чем нажать кнопку нужного этажа быстро склонился к кошкинскому уху и что-то скороговоркой сообщил. Профессор хоть и был глуховат, но ввиду хорошей дикции корреспондента однако расслышал. «Можно казашку заказать». Расслышать-то расслышал, да не сразу понял, только головой тряхнул. И поехал, усмехаясь в седые усы.

...Она работала в столовой самообслуживания на сорок третьей площадке, в жилой зоне для размещения воинской части и корпуса инженеров-испытателей. Стояла на раздаче, иногда сидела на кассе. Кошкин сразу ее заметил. Уж больно хороша была. Настоящая дочь степей. Столовая работала круглосуточно, как и все они, призванные сюда по долгу службы, а то и без-

оглядной страстью к науке. К началу своей смены, будь это утром, вечером, ночью она являлась верхом на скаковом жеребце под седлом, в легких атласных шароварах и такой же просторной накидке, приводящей на память нечто персидское из Омара Хайяма, которым упивался Кошкин в недолгие часы отдыха. Однажды подойдя к столовой после ночной смены, на рассвете, он увидел на фоне восстающего солнечного диска, окрасившего степь в тона красной меди, – увидел всадника, мчащегося навстречу в легком облачке им самим вздымаемой пыли. Они столкнулись у входа, где молодая казашка ставила своего конька у коновязи, по всему, и сделанной только для нее. В здание столовой вошли вместе. От ее разгоряченного тела исходил какой-то непреодолимый магнетизм, побудивший Кошкина, идя рядом, приблизиться вплотную к девушке, молча завладеть ее рукой и остановить. Они стали в полутемном коридорчике, ведущем в столовый зал. Теперь он уже не помнил тех первых слов, которые призваны были стать вестью о завладевшем ими взаимном стремлении друг к другу. Они были знакомы всего лишь несколько дней – завтрак, обед, ужин. Чаще – завтрак и ужин. Или ужин и завтрак. Только завтрак. Только ужин. Его работа свивалась кольцами суток, где трудно было отличить начало рабочего дня от его конца. Нет, первых слов он не помнил. Возможно, их и не было. Были зеленые глаза, в которых мгновенно вспыхнувшая насмешка сменилась серьезностью – он сразу это понял – ответного согласия. Он сел за столик как можно ближе к раздаче, люди приходили и уходили, он никого не видел. Сидел, пил пиво, смотрел, как она работает. Нет, она не работала – летала. Подумал – сколько грации! Изредка она бросала на него нетерпеливые взгляды. Это было нетерпение встречи. Вот что он помнил. Когда наконец пришло к концу это первое безмолвное свидание, и они вышли под открытое небо, она сказала: «Я хочу показать тебе степь. Ты не знаешь ее». Он пошутил: «Боливар двоих не снесет». Она удивилась: «Боливар?» Почему он решил, что ее коня зовут Боливар? Он продолжал шутить: у него на лбу написано. «Нет, моего коня зовут Кайсар». А тебя? «Наргиз».

Кайсар унес их в степь.

Воспоминания нахлынули с такой силой, что Кошкин даже зажмурился. В номере открыл окно и долго стоял, глядя вдаль поверх разномастных крыш Байконура. Отошел только для того чтобы сделать из коньячной бутылки несколько хороших глотков. Снова подошел к распахнутому окну. Степь открывалась такой же, какой он помнил ее – величественной и прекрасной. Стоял, ждал заката. Ждал этого феерического, ни с чем не сравнимого зрелища, которое часто посещало его во сне на протяжении этих пятидесяти лет, так быстро, подумал он, промелькнувших перед его удивленными глазами. И еще подумал: *все что было здесь – здесь и теперь*. А был здесь тогда молодой русский парень, полюбивший красавицу-казашку, – независимую, своевольную, страстную как степная орлица. Она завладела его сердцем, а взамен отдала все, что может отдать мужчине полюбившая женщина. Степь окрылила их и вознесла на седьмое небо.

А потом случилось то что случилось. Чудовищная, величайшая в истории ракетостроения катастрофа. Первый запуск «Изделия Р-16» должен был состояться 24 октября. Из Центра торопили, приближалась 45-я годовщина Великого Октября. Родина ждала исторического события – в этот день над ней должен был вознестись «ядерный щит». За тридцать минут до старта произошел преждевременный запуск двигателей второй ступени. Нижележащие топливные баки ступени первой взорвались, и в течение одиннадцати секунд гигантский огненный вал смел на своем пути все что лежало окрест на расстоянии полусотни метров. Сто двадцать шесть погибших, сорок два раненых. Инженер-лейтенант Кошкин был одним из них. Его спасло то, что закончив свою работу, он в это время уже удалялся от старта. Огненная волна всего лишь облизала его своим слабеющим языком, сделав одежду на спине угольным компрессом, смоченным парами азотной кислоты. Он упал и потерял сознание от боли.

Очнулся в лазарете, когда с него, нашпигованного обезболивающим, сдирали одежду вместе с кожей. Лежал на животе, боялся открыть глаза, шевельнуться. А когда все же решился

приподнять веки, увидел ее, свою возлюбленную Наргиз. Она сидела на низкой скамеечке у кровати, склонившись к его лицу, опершись ладошками о край постели, боясь прикоснуться к его воспаленной коже. Потом он снова потерял сознание и больше никогда уже ее не видел. То была их последняя встреча. Впереди у него лежали годы лечения. Господи, ведь знали, что эта адская смесь, именуемая топливом, – пороховая бочка, к которой нельзя даже приближаться.

Солнце ушло за горизонт, повеяло прохладой. Кошкин закрыл окно, отошел в глубину комнаты. Стал раскладывать вещи. Потом не раздеваясь прилег на кровать. Траурный митинг был назначен на десять утра на центральной площади Байконура. Он задремал.

В дверь постучали. Вставать не хотелось. Войдите, негромко сказал он. Дверь отворилась, на пороге стояла девушка лет девятнадцати. Горничная, подумал Кошкин. Алкоголь, он знал, всегда отбивает у него память. Пришлось напрячься. Девчонка спиной прижалась к двери, казалась испуганной. И тут его ошпарило: «казашку заказать»!. Девушка по вызовам! Он сел на кровати, пытаясь сосредоточиться, вернуться к реальности. Она все стояла. «Ну что же ты, проходи, садись». Она подошла и села рядом с ним. Короткая юбочка, круглые коленки. Совсем не похожа на казашку. Русская? Повеяло чем-то до боли знакомым. Молодостью? Как пахли молодые женщины, которых он любил? Сейчас он помнил только тот неповторимый аромат степи, который смешивался с ароматом кожи его возлюбленной Наргиз. «Как тебя зовут?» Девушка помолчала, будто вспоминая что-то, потом ее милостивое личико осветилось улыбкой: «Наргиз». Он даже не понял сначала – она ли это сказала, или имя прозвучало внутри него самого, как эхо прокатившееся в горах. Алкоголь не только отбивал память, он еще и закладывал уши. Повтори, попросил он. Она повторила: «Наргиз». Воцарилось молчание. Чтобы заглушить панику, нарастающую в душе, Кошкин поднялся, подошел к столу, в два стакана налили понемногу коньяка, вернулся, снова сел рядом с девушкой. Один стакан протянул ей. «Я не пью». Ах вот как, она не пьет! Тем лучше. Он проглотил два коньяка, стало легче. «Ты давно этим занимаешься?» Она потупилась. Молчала. Ну, ладно, не хочешь говорить, и не надо. «А как зовут твою маму?». Но едва только вырвался этот вопрос, вспыхнул другой, заданный ему самому пятьдесят лет назад в казахской степи: «Если у нас будет ребенок, как мы назовем его?» Вот уж не знаю, сказал он тогда. И добавил: «А у тебя есть любимые имена?» Да, сказала она. Если мальчик – Кайсар. Если девочка – Алия. Кошкин вдруг ощутил головокружение. Не дожидаясь ответа, который, показалось ему, наперед уже знал, он попросил у девушки разрешения прилечь. Вытянулся на кровати, выпростал подушку, подложил под голову, закрыл глаза. «Приляг рядом со мной». Она послушно легла рядом. И уже погружаясь в дрему, спросил: «Ее звали Алия?» Да, ответила девушка, как вы узнали? «Ты похожа на свою бабушку Наргиз». И провалился в сон. Так, бывает, укрываются сном от смертельной опасности. И то верно – опасностью дохнуло в лицо еще там, у входа в лифт, – в этом «заказать» повеяло чем-то недостойным, как будто вся отданная делу жизнь подверглась порче. А во сне Кайсар снова уносил их в степь. Они спешивались у озера и бежали к воде. Потом лежали на горячем прибрежном песке, как, должно быть, лежали Адам и Ева в раю, где никогда не заходит солнце, никогда не наступает ночь.

Проснулся далеко за полночь. В комнате витал аромат ночной степи. Уходя, Наргиз открыла окно. На столе лежала записка «Я знаю кто ты. Бабушка умерла. Мама живет в другом городе. Уходя, я поцеловала тебя. Прощай. Если захочешь, позвони». И телефон.

Голова кружилась. Сердце досаждало перебоями. Он поторопился лечь. Долго лежал без сна. Вспоминал. Размышлял. Он должен вызволить ее отсюда. Помочь. Спасти. Но как?

Подумал: ад и рай, – все здесь, на земле, и нигде кроме земли. И еще подумал с великой грустью: закатилась, канула в Лету наша великая трагическая эпоха, разлучившая так много любящих сердец.

## Анна

*Антону*

*«С ними была Брет. Она была очень красива  
и совсем как в своей компании»  
(Э. Хемингуэй, «И восходит солнце»)*

Я случайно встретил его в Гостином дворе на проходившей там недавно «Неделе моды». Один из моих лучших студентов-дипломников последних лет, он отличался, к тому, очевидной и непререкаемой мужской статью, обычно привлекающей взгляды молодых женщин и спортивных тренеров. Что до меня, то свои лекции по ядерной физике я разбавлял на досуге посещением университетского спортивного зала, где во время соревнований по гандболу часто собирались не только студенты, но и свободные от занятий преподаватели. Я заранее справлялся у Антона о предстоящих играх с его участием и старался по возможности не пропускать их. Моя молодость тоже была связана со спортом, и до сих пор меня возбуждает дух борьбы, он питает воображение и помогает сопротивляться всегда нам угрожающей энтропии, а попросту говоря – физическому и духовному распаду.

До этой встречи я не видел его два года и ничего не знал о его судьбе. Бесспорно, он возмужал. Время – хороший скульптор. Оно оттачивает черты лица и кладет отпечаток прожитого на весь облик человека, заставляя нас, как правило, удивляться случившимся переменам. Но что из всего больше в нем удивило – седая прядь, взбегающая ото лба и растворяемая легкой порошей в смоли густых волос.

Увидев меня, Антон оживился. Мы взяли по кружке пива и сели за один из небольших столиков, расставленных недалеко от подиума, где шел показ. Моя подружка, сказал Антон, кивком головы одновременно давая понять мне о причине своего появления здесь и возможной направленности моего интереса. Выпивка располагала к откровенности. Странное дело, сказал я, из всех зрелищ, после спорта, конечно, мне более всего любимы показы мод. Я не пропускаю ни одного. Если бы мы хотели представить иноземной цивилизации квинтэссенцию земного мира, мы были бы должны показать им одну из этих победоносно шествующих красавиц. Антон безоговорочно согласился. Мы сделали еще по глотку и пожали друг другу руки. Вы, как всегда правы, сказал Антон.

Я знал, что после защиты диплома он собирался отправиться волонтером во Францию, чтобы принять участие в организации рок-фестиваля и заодно попрактиковаться в языке. Он мечтал о работе в ЦЕРНе.

Об этом я и спросил его. Мне приходилось бывать в Париже, а именно с него он и начал, и его упоминания улиц, бульваров, площадей, достопримечательностей воскрешали во мне собственные воспоминания о недавних путешествиях. Однако некоторые им упомянутые детали парижского уличного быта показались мне любопытными. У бродяги, который расположился с ноутбуком на бульваре Клиши, чтоб отдохнуть и насладиться «13-м районом» великого Бессона, они спросили, как найти этот самый район, но тот только рассмеялся и подарил им по банке пива «Амстердам, хай интенс, 12%». Антон путешествовал со своим другом-однокурсником.

Из Парижа они отправились в Нант, где соединялась их группа волонтеров, призванных для устройства фестиваля. В этом месте своего рассказа Антон замялся. Мне показалось, он перестал замечать окружающее нас веселое оживление, уже не бросал взглядов на подиум и полностью растворился в своем повествовании, будто всматриваясь в картины, предстающие перед его внутренним взором.

– Когда на вокзале в Нанте собралась вся наша разноязыкая группа, – продолжал он, – подоспели два грузовика, мы погрузились в них со своим скарбом и отправились куда-то в западном направлении. Через два часа наш караван оказался на берегу реки у большого склада, на заднем дворе которого гостеприимные французы тут же установили большой деревянный стол и стали нас угощать. Чего только не было на этом столе! Вино, пиво, мясо, картошка, хлеб, сладкие соусы и много чего еще. Здесь-то мы все по-настоящему перезнакомились. Объяснялись по-разному – на смеси французского с нижегородским, то бишь английским.

Антон замолк, по лицу его скользнула улыбка.

– Вот тут-то она и объявилась. Подошла и под села ко мне. И заговорила по-русски, с этим типичным французским акцентом. Слышала как мы с моим другом Темой обменивались впечатлениями. На вид – за двадцать, немного старше меня. Это всегда чувствуешь когда женщина старше. Одна из организаторов фестиваля. Сказала что будет сопровождать нас дальше, в кемпинг. Тот находился в сорока километрах, на побережье. Я представился, мы познакомились. Ее звали Анна. Из семьи потомственных русских эмигрантов. Пиршество наше длилось недолго. Стало темнеть, мы снова тронулись в путь. Кемпингом оказалась некая огороженная территория, где множество небольших палаток маршировали вдаль стройными рядами, едва ли не скрываясь за горизонтом. А еще, нам сказали, тут есть крытый бассейн с ресторанчиком. Очень кстати, подумал я. Но зачем бассейн? Океан ведь где-то рядом. Было часов одиннадцать, когда мы добрались до своего убежища, разложили вещи и стали готовиться ко сну. Тема окончательно выбился из сил, а у меня, как ни странно, их еще было в избытке. Меня манил океан. Я никогда не видел океана! Герои великих книг – знаменитые капитаны – теснились в моей душе, увлекая, образно говоря, в погоню за Белым Китом! Я заботливо упаковал Тему в наш двойной спальник и вышел из палатки. Самые стойкие ребята из группы волонтеров толпились под фонарем. С ними была Анна. Она была очень красива и совсем как в своей компании. Я спросил: кто хочет пойти познакомиться с Атлантическим Океаном? Одному идти не хотелось. К тому же стало прохладно. В ответ – тишина. И вдруг Анна выступает вперед и говорит – «Я!». И мы пошли. Выйдя из лагеря, стали спрашивать редких прохожих – где же все-таки океан? Ответы различались. Мы выбрали самый короткий путь. Пять минут – так нам сказал человек, по всему, заслуживающий доверия. Впереди тьма. Еще немного – и мы наткнулись на компанию молодежи, они сидели у костерка и пили вино. Я на своем ломаном французском спросил: где мы можем искупаться? Они рассмеялись. Поняли что мы иностранцы. Анна молчала. Нам объяснили – сейчас отлив и придется пройти по мокрому песочку еще минут двадцать. И кто-то добавил – будьте осторожны. Этой последней реплике мы не придали значения. Отступить? Нет, сказал я, только вперед! Анна молчала. Наконец мы его услышали! Он был спокоен, только по-домашнему плескался во тьме, будто приглашая в свои объятия. Мы сбросили верхнюю одежду, взяли за руки и двинулись вперед в поисках мало-мальской глубины. Еще немного – и мы поплыли. Это было прекрасно! Луна внезапно сбросила облачный саван и проложила вдаль серебристую тропу. Дно вскоре ушло из-под ног, мы наслаждались в одно время движением и покоем. Знакомое ощущение, верно?

Я согласился. Антон продолжал.

– И тут мы услышали какой-то звук, похожий на шум дождя. Мы повернули назад. Этот звук преследовал нас, нарастал, переходя в отдаленный несмолкающий гром. Вода прибывала, я пытался нащупать дно. Его не было.

Антон снова замолчал. Я начал понимать что произошло. Прилив очень коварен на широких пляжах. Уровень воды нарастает быстро и часто сопровождается приливной волной, стремительно несущейся по отмели. Зазевавшимся здесь купальщикам ничего хорошего ожидать не приходится. Морская стихия шутить не любит. Это я знал по собственному опыту.

– Да, – продолжал Антон, – волна сначала подняла нас на гребень, потом сбила с ног и понеслась дальше. Анна выбилась из сил. Я взял ее на руки и понес. Не могу сказать как долго я шел. Ноги вязли в песке. Наконец мы достигли суши и упали в изнеможении. Стало очень холодно. На какое-то время я, очевидно, потерял сознание. Очнулся от того что Анна прижалась ко мне, чтобы согреть своим телом. Мы обнялись.

Он снова замолк. Я ждал продолжения. Я вспомнил, как во время войны немцы отогревали сбитых летчиков, долго пробывших в ледяной воде. Женщина – вот кто во все времена возвращает к жизни.

– Да, сказал Антон, вы правы. Есть такие объятия – в них прибываешь всю оставшуюся жизнь. Когда мы расставались, она сказала: не ищи меня, пусть это останется нашим общим приключением. И добавила: жизнь – это приключение, которое, к сожалению, быстро кончается. Потом я узнал, что она замужем, и перестал искать встреч. Так мы разошлись, чтобы никогда больше не встретиться в этом мире.

Мы допили наше пиво, я пожелал ему счастья, и мы разошлись.

Я шел домой темными московскими улицами. И вдруг такая странная мысль посетила меня: счастье – это когда нас выбирают. Зачем? Чтобы помочь жить.

## Вкус крови

*Римме М.*

Мать зарезала последнюю овцу и спустила кровь в металлическую плошку. Ее руки, привыкшие к тяжелому крестьянскому труду, были по-мужски сильны и к тому красивы, что случается у деревенских красавиц, рожденных в трудолюбивой семье и отданных заботливому мужчине, который не позволяет сгннуть их мягкой ласке. Плошку с кровью мать поставила в протопленную с утра печь. Так она делала всегда – кровавую запеканку нарезала небольшими ломтиками и раздавала детям в подкрепление молодых сил.

Детей было трое, мальчик и две девочки. Анютка, младшая, запеканку не ела, отдавала старшим. Ей было жаль овцу. Когда мать взяла большой нож и пошла в закут, Анютка залезла на печь и заплакала. Только к вечеру удалось ее оттуда выволочь и усадить за стол. Запеканку предусмотрительно спрятали.

Приближалась весна сорок пятого года. В некоторых семьях еще ждали с войны своих мужчин – отцов, детей, мужей, но семей таких оставалось немного. Без малого четыре года летели на деревню со всех фронтов незапамятные «похоронки», ранили сердца, гасили надежды. Анютка родилась в декабре сорок первого, когда Мария уже проводила мужа на фронт, оставшись с двумя малолетними детьми на руках и старухой-свекровью. А разрешившись от бремени, поторопилась передать мужу радостное известие – дочка.

Ивана призвали в одно время с его другом Алексеем. Тот еще бобылем ходил, все выбирал себе невесту, и уже было просватал в соседней деревне Наталью Матюшкину, да так и не успели свадьбу сыграть. Говорили, не так просто тянул, сохнет смолоду по Машке, Макаровой женке, а правда то или нет доподлинно вряд ли кто знал. Скрытный мужик был Алексей Дерюгин. А за неделю до разлуки пришла Наталья в его дом, невенченная, и осталась за хозяйку. Сказала – хоть перед смертью надышишься. И хозяйство под присмотром будет. Поклялась – ждать будет упрямо, а если что – никогда не забудет. Сама хоть не видна была собой, но добра и заботлива без меры. Алешка ходил счастливый, и все рассказывал Ивану про свою суженую, а тот только посмеивался – остепенился дружок!

Судьба отмерила Ивану войну долгую и смерть неминуемую. Похоронка пришла в феврале сорок пятого. Вот тогда и зарезали последнюю овцу, чтобы устроить поминки. Мария, как и все русские женщины, чьи мужья стояли грудью на защите отечества, готова была принять *свою* судьбу – какой бы та ни была тяжелой. Православная вера, которую так старательно искореняли на Руси долгие годы, воспряла в это трудное время и вдохнула надежду. Прочитав скупое послание, Мария не заплакала. Она засветила лампаду в красном углу у небольшого иконостаса, они сели все за стол и сотворили молитву «За упокой души мужа Ивана». Анютка знала, что Иван – это ее отец, но ничего от того не почувствовала и помолилась за любимую овечку Глашу, чтоб ей хорошо было на том свете. А бабушка все крестилась и никак не могла остановиться.

Перед самой уже победой вернулся Алексей Дерюгин. Пришел со станции ночью, опираясь на костыль, поврежденная осколком нога плохо служила, потому как лишилась коленного сустава. Пробрался задами к совей избе никем не замеченный, постучал в окошко. Наталья отодвинула занавеску, в лунном морозном свете увидела мужа и, как была в ночной рубашке, опустилась на лавку. Входную дверь она не запирала ни днем, ни ночью, дабы воин, паче чаяния вернувшись, не стал бы в затруднении перед входом в свой дом. О ранении он написал ей из госпиталя. Но и словом не обмолвился о скором возвращении.

Стукнула дверь, другая, он вошел в горницу, они обнялись. Когда двое встречаются после долгой разлуки, это уже совсем другие люди. Все то разделившее их время, наполненное раз-

ными событиями, разными встречами ложится иногда неодолимой преградой к быстрому единению душ. Наталья накрыла на стол, поставила припасенную загодя бутылку самогона, чугунок с теплой из печи картошкой, Алексей нарезал принесенную белую буханку, несколько ломтей намазал сливочным из сухого пайка маслом. Выпили «со встречей». Наталья смотрела как он ест, сама не притронулась. Она почему-то не ощутила радости встречи. Когда он вошел, все смотрела как ходит по комнате на своей негнущейся ноге, благо и то что костыль отставил к стенке как вещь теперь вроде бы и ненужную. Но ходил уверенно, это вселяло надежду. Она чего-то ждала. А спроси что – и не сказала бы.

Они проговорили до рассвета. Потом Алексей оделся, закинул на плечо вещмешок, поцеловал Наталью – она прильнула к нему, окаменевшая, но тут же и опустила руки, – и он ушел. Пробрался задами к избе Ивана и постучал у двери.

Светало. Луна успела скрыться, и на морозе снова сгустилась мгла. Отворила Мария, стала на пороге. Ей померещилось – Иван, сердце упало, когда же очнулась от минутного помрачения, кивком пригласила в дом.

Она сразу все поняла. Вспомнила детство, девичество. Посиделки за околицей, танцы в клубе. Расходились за полночь, за ней тянулся хвост, – парни провожали гурьбой, каждый пытался перехватить первенство, проводить до дому. Она сама выбирала – кто, тогда остальные отступали, и каждый таил надежду – в следующий раз... А последний год перед замужеством выбор все чаще падал на Алешку Дерюгина.

Потом что-то пошло не так. И когда посватался Иван, отец Марии дал свое согласие. Был неизлечимо болен, хотел еще внуков увидеть. Но перед тем и спросил дочь – как она? А она и сама не знала. Не то чтобы влюблена была, но ведь и то правда – пора. Кто знает деревенский уклад жизни – поймет.

Изба-пятистенка была просторна. Мария проводила Алексея на свою половину и уложила спать. Сама же принялась за привычную работу. Днем как всегда ждали в колхозе. Счет трудовой велся аккуратно, только мало что от них доставалось трудовому люду.

Вернулась под вечер, разбудила, принесла умыться, сказала – потом баню протопим. Вышли в горницу вместе. Все уже были готовы встретить «нового батю», сидели за столом, ждали. Свекровь подвинулась на лавке, освобождая место, чтоб усадить рядом, хотела про сына услышать, воевали-то, чай, вместе... Так и остался Алексей Дерюгин в новом доме.

Анютке батя понравился. И назавтра она все ходила за ним, показывала где у них что – сеновал, погреб, овечий закут, курятник. Иногда Алексей брал ее на руки, носил по дому, ему было внове держать на руках ребенка, до того неведомые чувства овладевали душой. Старшие дети еще сторонились его.

На некоторое время Анютка даже забыла про любимую соседку, тетю Нату Матюшкину, к которой успела привязаться, да и та перестала почему-то заходить, как обычно, проведать дорогих соседей, узнать не надо ли что помочь. Или просто «покалякать».

Так прошло несколько дней. Наступило «Прощеное Воскресенье», один из любимых русских праздников. Мария дала Анютке кузовок с медом – отнести тете Нате, сказала – пусть она мне простит. Анютка не поняла за что их надо прощать, но потому как успела уже соскучиться по ласковой соседке, тотчас поспешила исполнить просьбу.

Наталья сидела на полу, привалившись мертвой головой к печной кладке. По руке ее стекала на пол струйка крови, Анютка приблизилась, потрогала голову, подумала – спит Наталья, потом взяла на палец кровавый сгусточек, поднесла губам.

Кровь показалась ей сладкой.

## Забуть Палермо

*Гале*

По дороге с моря они всякий раз проходили мимо лавчонки, на витрине которой за стеклом были выставлены старинные вещицы всех родов и размеров – керосиновые лампы, статуэтки, чайные сервизы, детские игрушки, холодное оружие и ещё многое, чему трудно было подобрать названия. Над витриной у входа красовалась вывеска: ВИНТАЖ. Изнутри доносились песни советских времён – бессмертные творения почивших русских гениев.

– Винтаж – это что такое? – спросил он у жены.

– Дорогой, сказала она, – какой ты недогадливый, ты же видишь – антиквариат.

Он подумал – надо зайти, не мешало бы что-то добавить к собственной коллекции. Но жена увлекла его в следующую – янтарную – лавочку. Городок на берегу Балтийского моря славился янтарём.

Антикварная витрина жила своей собственной жизнью. За стеклом всё время что-то менялось – вещицы проходили и уходили, мелодии сменяли одна другую, будя ностальгические воспоминания об ушедшей молодости.

Каждый вспоминал своё. Он – беззаботное московское детство, эвакуацию, послевоенный коммунальный быт. Она – быструю Кубань, пионерский лагерь Артек, оккупацию, кашу-мамалыгу, любимые игрушки.

По утрам из окна небольшой гостиницы, где они остановились, доносилось её пение. «Цветут сады зелёные, а в них идут влюблённые...» Или «Всё выше и выше, и выше стремим мы полёт наших крыл...» Он аплодировал, хотя утверждал, что этот «полёт» – не что иное как немецкий гимн авиаторов «Люфтваффе». Сам обожал Утёсова и Клавдию Шульженко. Его басок иногда приходил на смену по вечерам: «Засыпает Москва, стали синими дали...»

Телевизор в номере не работал. Поначалу это расстроило их, страна жила новостями из разорённой Украины, гражданская война, пожирающая расколотое общество, возвращала мыслями к той, давней войне, что опалила их детство. Они ужинали в номере за бутылкой красного вина и в первый же вечер обнаружили, к своему удивлению, – как хорошо оторваться от этих назойливых, порой чудовищных «новостей» и просто жить естественной, незамутнённой, мирной жизнью. Перед сном, лёжа в своих постелях, они вслух читали «Забуть Палермо» Эдмонды Шарль-Ру, что нашли здесь же, в гостиничной библиотечке.

Чем дальше мы живём, тем чаще обращаемся памятью к годам детства, вспоминаем родителей. А если перед нами заинтересованный слушатель, он подталкивает к исповеди, которая никогда бы не ожила в другое время, в другом месте. Случается, выслушивая подобные рассказы, мы завидуем чужому жизненному опыту, даже если он несёт в себе страдательное начало.

Так, он часто спрашивал её об оккупации. Это была для неё болезненная тема, но вопреки тому она с готовностью возвращалась к ней вновь и вновь, погружаясь в тот холодный тревожный мир зимы 41—42 годов. Впрочем, в силу своего шестилетнего возраста она, по её утверждению, не испытывала тогда особой тревоги. Помнила только, что эвакуировали их навстречу врагу, и в станице, где они остановились на ночлег, матери предложили вступить в партизанский отряд. А ребёнок? – спросила она. Отдайте в семью – сказали ей. Мать поблагодарила за оказанное доверие, и они пошли назад, в оккупированный Краснодар. Добирались на попутных немецких машинах. «И никто ведь пальцем не тронул!» – удивлялась она теперь.

А в покинутом недавно доме обосновались гости. Немолодой немецкий офицер поселился у овдовевшей уже красавицы Насти. Офицера звали Эрнст.

Коридорная система и общий туалет во дворе способствовали общению. Когда Эрнста посылали в кладовку, он проходил мимо их двери. Заслышав его тяжёлые шаги, она выбежала из комнаты будто бы по своим делам. Столкновение было неизбежным. Эрнст брал её на руки, гладил по головке, приговаривая «Тохтур, тохтур... дочка...» и спрашивал: «Как дела?» Хорошо, радостно сообщала она, немцы драпают. Да, отвечал он, драпаем, очень у вас холодно. Весной вернёмся.

Вскоре они ушли. На прощанье Эрнст подарил ей плюшевого медвежонка. А Настю забрал с собой. В город стали возвращаться уцелевшие на войне мужчины. И стали рождаться дети. Детей рождалось много больше, чем вернувшихся мужчин.

На базаре появился спрос на детские вещи. И мать, уже распродавшая в ближайших магазинах всё, без чего ещё можно было обойтись в хозяйстве, обратила взор на её игрушки. Это были куклы Аня и Даша и плюшевый медвежонок – Эрни. Они мирно восседали в детском уголке вокруг игрушечного столика, уставленного несъедобными яствами.

– Мама, – рассказывала она, – стала уговаривать меня продать игрушки. Я упиралась, ночами брала их в свою постель и укладывала рядом с собой, боясь, что мама тайком унесёт их на базар. Мама не могла устроиться на работу, подступал голод. Не из чего даже было сварить ненавистной кукурузной каши – мамалыги. Вероятно, в тяжёлые времена дети рано взрослеют. Постепенно я свыклась с мыслью, что нам придётся расстаться. Не могла только решить, кто будет первым преданным мною другом. Мой выбор пал на Аню. Она была старшая и казалась мне вполне готовой вступить в самостоятельную жизнь. В ту ночь она удостоилась чести лечь со мной наедине. Мы обнялись, немного поплакали вместе и уснули. А утром мама отнесла её на базар и продала. Вскоре и Дашу постигла та же участь, хотя она была совсем ещё ребёнок. Я оторвала её от сердца куском живой плоти. Но когда очередь дошла до медвежонка, я воспротивилась. Он был такой беззащитный маленький зверёк и так привязан ко мне, что я долго не могла решиться отдать его «на закланье». Ведь это была ещё и память о первом мужчине, который держал меня на руках. Каким бы странным тебе это ни показалось.

– Нет, – сказал он, – я тебя понимаю.

Она продолжала.

– У этого медвежонка были такие мохнатые лапки с белыми кожаными подошвами. На одной из них Эрнст написал чернильным карандашом свои инициалы: «ЕJ». Увы, и медвежонок покинул меня. Поверь мне, я была неутешна. Но я не преувеличу, если скажу, что это был выбор между жизнью и смертью.

– Я это знаю, – сказал он.

Шли дни. Незадолго до отъезда он заметил на витрине винтажной лавочки игрушку, до того не попадавшей в поле его зрения. Это был плюшевый медвежонок.

– Смотри! – воскликнул он, обращаясь к жене, – твой медведь!

– Нет, – сказала она, посмотрев, – не похож, тот был намного больше.

– Возможно, тебе это просто кажется. Ведь ты сама была ещё маленькая. Что стоит нам посмотреть? Зайдём!

Они зашли внутрь помещения. Хозяином оказался пожилой немец. Он представился: Отто Юнгер. Они познакомились

Она попросила снять с витрины и показать медвежонка.

– Это непростая игрушка, – сказал Отто. – двадцать лет назад, за три года до своей смерти ко мне в гости последний раз приезжал мой отец – Эрнст Юнгер. Ему было тогда уже сто лет. Вам знакомо это имя?

Нет, они не знали его.

– Он был писатель с мировым именем, чьи книги переведены едва ли не на все языки мира.

– Однажды мы пришли с ним сюда, – продолжал Отто, – чтобы он мог ознакомиться с моим маленьким «делом». Как раз незадолго до того у меня появилась эта игрушка. Почему-то она его очень заинтересовала. Он долго вертел её в руках, потом попросил чернильный карандаш и оставил автограф. Вот, смотрите.

Отто взял медвежонка за правую заднюю лапку, и они увидели на её подошве инициалы: «EJ».

– Ещё он сказал вот что, – продолжал Отто свой рассказ, – Пройдут годы, к тебе придёт женщина, увидит эту вещицу и скажет: «Это моё». И ты отдашь ей то, что ей принадлежит.

Воцарилось молчание. Его прервал Отто.

– Все эти двадцать лет реликвия, которую вы держите в руках, живёт здесь в ожидании того кому предназначена. А тогда я сказал отцу – но ведь меня могут обмануть, кто угодно может сказать – «это моё». Нет, сказал он, это невозможно. Когда-нибудь ты поймёшь это сам.

Отто помолчал.

Она ощутила головокружение и оперлась на руку мужа.

Отто вновь заговорил.

– Все эти двадцать лет игрушка стояла на витрине. Это удивительно, но вы первые обратили на неё внимание.

– Ваш отец как-то объяснил вам свой поступок? – спросила она, справившись наконец с головокружением..

– Да, – Отто помолчал, – Он сказал, что точно такую игрушку много лет назад подарил одной русской девочке, перед которой впервые ощутил глубокую, неизгладимую вину за то, что они сделали с вашей – а теперь и моей – страной.

Она взяла в руки медвежонка и прижала к груди.

– Вы так свободно говорите по-русски, – прервала она Отто, взглядываясь в его лицо, – Вы русский?

– У меня была русская мать. Она приехала с отцом из России. Его первая жена погибла при бомбардировке Дрездена англичанами. Я родился в тысяча девятьсот пятидесятом году в западном Берлине, где отец обосновался после войны. Незадолго до того они с моей матерью обвенчались. В нашей семье говорили по-русски. Она умерла. Когда восточную Пруссию стали заселять русские, я с семьёй приехал сюда, в Раушен.

Все помолчали.

– Я была знакома с вашей матерью, – сказала она, – Её звали Анастасия, верно?

Отто Юнгер вышел из-за прилавка и обнял её. Потом сказал: – Я всегда ощущал себя русским. Вы не осуждали её?

– Нет, – сказала она, – До встречи с вашим отцом она успела прожить одну – несчастливую – жизнь, испытать горечь потери. Судьба вознаградила её за муки. Так и должно.

Они вышли на улицу. Она несла игрушку в бумажном пакете, куда опустил её Отто Юнгер, сын знаменитого писателя.

Молчали. Зашли по-обыкновению в янтарную лавку. Она купила ожерелье в подарок дочери. Вышли на площадку перед стометровым лестничным спуском к набережной. Посмотрели на море.

За ужином она спросила мужа:

– Почему ты сделал вид, что не читал Юнгера? Я же видела у тебя его «Эвмесвиль».

– Драма, – ответил он, – должна развиваться по своим законам Я не имел права вмешиваться.

– Ты прав, – сказала она. – Потому и я промолчала.

– Не думаю, что Юнгера мучила совесть. Он слишком любил войну. И всё же этим жестом, похоже, просил прощения.

– Простить можно, – сказала она, – забыть нельзя.

## Декабристы (Из цикла «Украина в огне»)

«Политика – современный рок»  
(Ромен Роллан)

Её «американский дядюшка» хотел, говоря его собственными словами, «сдохнуть в России». С «дядюшкой» у неё не было общей крови, он всего лишь состоял американским мужем её русской тётушки, которая в трудные годы уехала работать в Америку после развода с первым мужем. Понятно, «дядюшка» не хотел *сдохнуть*, он хотел жить, а если уж умереть, то и быть похороненным по христианскому обычаю. Но ещё недостаточное владение русским языком сыграло с ним злую шутку, и когда в порыве любви к родной стране её тётушки дядюшка, как говорят, выдал эту сентенцию, все кто ни был в компании покатались со смеху. А компания была не простая – свадебная. Алиса выходила замуж. Ну и конечно смеялись все родственники и американская тётушка с новым «дядюшкой» в том числе.

В свадебное путешествие молодые новобрачные отправились, разумеется, в Америку. Эта страна поразила Алису. Нью-Йорк ослепил, Майами обволокло истомой, статуя Свободы произвела неотразимое впечатление. Алиса испытала, что называется, культурный шок. А вскоре пришла пора прибавления семейства, и конечно же, оно должно было состояться нигде кроме как в этой стране «воинствующей демократии». Так отозвался о ней американский дядюшка, который намеревался к тому и стать крёстным отцом уже прибывающего на подходе мальчика.

Но тут случилось непредвиденное. В Америке вспыхнули волнения, по городам прокатились демонстрации цветного населения, протестующего против полицейского произвола, ежегодно уносящего десятки жизней ни в чём неповинных мирных граждан. По всем приметам, назревала очередная «цветная революция». Тут уже Алиса перенесла ещё один – теперь уже «цивилизационный» шок. Как его и констатировал дядюшка, побудив Алису к мысли отказаться от сомнительного американского гражданства будущего сына, которому она уже подобрала латинское, как она говорила – международное – имя: Гарри. Гарик. Может быть, потому, что дядюшку звали Гарри? Гарри Морган. Нет, Алиса утверждала, что это чистейшее совпадение, просто оно ей очень нравилось. Так звали всех голливудских ковбоев. Алиса обожала «Великолепную семёрку» с Юлом Бриннером в главной роли. Впрочем, никто против Гарика не возражал, даже Алисины дедушка с бабушкой.

Дедушка Америку не любил, но Алисин американский дядюшка пришёлся ему очень по душе. «Сдохнуть в России – ведь это ж надо! – восхищался дед, – каков американец! – Видно здорово насолил ему дядюшка Сэм. Да и то верно – каменные джунгли, давно известно». Дедушка в Америке не бывал, однако много был о ней наслышан, а когда Алиса неожиданно прилетела обратно вместе со своими американскими родственниками и не родившимся ещё мальчиком, то и вовсе перестал уважать «мирового жандарма». А за американского дядюшку порадовался. У тебя, сказал он тому, шансы сдохнуть в России значительно увеличились. Дядюшка в принципе с этим согласился, и добавил в том смысле, что спешить не будем. И дед, понятно, согласился, что торопиться не стоит.

Не прошло и двух недель, как Алиса благополучно разрешилась мальчиком. А ещё через несколько дней они все пошли в церковь «Нечаянной радости», что в Марьиной Роше, и окрестили новорожденного. И свежее испечённый крёстный отец даже попросил разрешения донести мальчика до дома, благо недалеко. В чём ему разумеется не было отказано.

Праздничный стол не заставил себя ждать, и когда все основные тосты были уже произнесены, молодой отец, он же тамада, предоставил слово крёстному. Дело происходило в декабре. Тот сначала предложил выпить за дружбу русского и американского народов. И тут же напомнил, что не только его крестник – «декабрист», но и его уважаемый сват, – он выразительно посмотрел в сторону деда, – тоже «декабрист», и он сам, Гарри Морган – тоже. И тогда все выпили за дружбу народов и здоровье декабристов. А дед, захмелев, спросил, не его ли, крёстного, вывел Хем в «Иметь и не иметь». Посмеялись. У того же не было левой руки! А с пиратами он ловко расправился одной правой, левым обрубком только автомат поддерживал! Тут дядя Гарри засучил левый рукав, и все увидели его исполосованное шрамами предплечье. Так и открылось, что Гарри Морган – отставной полковник американской армии и участник, – так он сам сказал, – *колониальных войн*. Но каких? – это осталось тайной. Все немного опешили, но вопросов задавать не стали. А дед довольно удачно попытался заполнить возникшую паузу, напомнив о роли «декабристов» в русской истории. О том как декабристы «разбудили» Герцена, тот в свою очередь народовольцев, народовольцы – большевиков... А большевики? – спросил Гарри. Дед замялся, но ненадолго. Большевики, сказал он, всколыхнули Россию. В этом месте Алиса, извинившись, прервала его и вышла из-за стола, сказав что ей пора кормить ребёнка. И тогда все потянулись к выходу.

Когда же все разошлись, Гарри Морган и Алисин дед долго оставались ещё за столом и о чём-то тихо переговаривались. Никто их не слышал. Только время спустя стало ясно, о чём шла речь. Дед рассказал.

Оказалось, что предки дядюшки Гарри были выходцами из Российской империи. В конце девятнадцатого века они эмигрировали в Америку, спасаясь от безземелья, от нашествия капитализма, от невозможности на родине заниматься крестьянским трудом. Где это был город такой – Юзово? – спросил Гарри. Дед не знал. Тогда они обратились к энциклопедии и нашли то что искали. Юзово, или Юзовка – это было сельское поселение, место, на котором возрос нынешний город Донецк. Донбасс, короче. Гарри сказал – хочу поехать туда. Дед сильно призадумался. Он и сам был не лыком шит, «бомбу» делал, по морям ходил, а тут пришлось крепко подумать. Там ведь гражданская война, сказал он. Ну и что, сказал Гарри, мне не привыкать, будь другом, помоги. Ладно, сказал дед.

Несколько дней ушло на то чтобы снарядить дедовский «лендровер». Соль, спички, мыло. Война есть война. Дед по себе знал, пережил в детстве. Сахар, мука, консервы, сухое молоко. В Донбасс уходил очередной гуманитарный конвой. С дедовскими связями в нужных кругах пристроиться к нему ничего не стоило. И они это сделали. Совершили настоящий побег. Утром одного из предновогодних декабрьских дней Алисина бабушка нашла на кухонном столе записку, в которой коротко сообщалось о «предстоящей операции» и содержалась просьба «не беспокоиться».

Донецк был красив открытой степной красотой. Они шли проспектом Маршала Жукова в направлении к стадиону «Донбасс-арена». Был ясный солнечный день, слегка подмораживало. Немногочисленные прохожие прижимались к северной стороне улицы. Дед сказал: надо перейти на ту сторону, она, верно, менее опасно при обстрелах. Но сделать этого они не успели. Мина прилетела со стороны аэропорта и грохнулась на «зебре» в нескольких шагах впереди. Деда контузило. Когда он пришёл в себя, увидел, как Гарри Морган отползает с тротуара к полоске зелени перед домами. Добравшись до неё, он припал к ней лицом. Он поцеловал родную землю.

На верхнем багажнике своего «ленда», в простом деревянном гробу дед под новый год пригнал убиенного дядюшку Гарри в Москву. Благо стоял мороз, и за сохранность тела можно было не беспокоиться. Покойного отпели в церкви «Веры, Надежды, Любви и Софии», что на Миусском кладбище. И там же опустили в родную – русскую – землю.

Все поплакали. Тётушка в Америку не вернулась. Теперь, когда Алису спрашивали, почему она своего сына назвала нерусским именем, она отвечала – в память о моём дяде, убитом во время гражданской войны на Украине. Впрочем, и спросил-то один только человек – заведующая детским садом, куда Алиса пришла отдать на воспитание маленького Гарика. Невоспитанная была дама. Ну да бог с ней, сказал дед, осенил себя крестом и добавил: хороший был мужик этот Гарри Морган, вот что значит – русские корни, одно слово – декабрист!

## Аглая (Из цикла «Украина в огне»)

Максим Шербан освобожден из заключения в январе 2014 года. В свои годы он был еще крепок, силен, по-мужски красив и даже образован, – по нынешним временам в избытке, потому как познания его для жизни плохогодились. На воле он заведовал центральной библиотекой Канавинского района в Нижнем Новгороде. Однажды, будучи в состоянии небольшого подпития он оказал сопротивление полиции, был осужден на два года исправительно-трудовых работ и сослан в колонию-поселение на севере Вологодской области.

Вскоре после того как Шербан осел в вологодских лесах, жена его подала на развод, он не имел ничего против и не стал чинить препятствий, детей у них не было, семейная жизнь, как нередко случается, «выдохлась», а лучше сказать «задохнулась» в быту, где кроме горячо им любимой библиотеки и дачного домика на берегу Оки, он почитал приятным проводить время в «пивном ресторане», благо тот лежал на пути от дома к месту работы. Именно там и случилась беда, повлекшая за собой столь неприятные последствия.

Лагерное начальство Шербана «заметило», вскоре по прибытии он снова был назначен заведующим – теперь «колониальной» библиотекой и продолжал «нести свет в массы». К своему удивлению обнаружил, что «массы» читали здесь много больше, чем на воле. Сказывался избыток свободного времени и недостаток «зеленого змия».

Он понимал, что если вернется в свои края, все пойдет по-старому. Где жить? Где работать? Пьянил воздух свободы. И он решил податься в Крым. Сказал остающимся друзьям – «Из Вологды в Керчь». Как некогда (он усмехнулся в душе) отправился в поисках лучшей доли провинциальный актер Аркадий Счастливец. Шербан был испорчен литературой.

Путь пролегал через Москву. Здесь была зацепка – адресок старого друга-одноклассника по Библиотечному еще институту. Шербан без труда нашел знакомый дом в Марьиной Роще, недалеко от станции метро, зашел во двор, и тут странная робость овладела им – будут ли рады в семье, как-никак лагерник, бывший зек.

Он присел возле спортплощадки на скамью под пластиковым пологом от дождя, достал из рюкзака банку пива. Смеркалось. И было решил уже не заходя ехать на Киевский вокзал, как забежал и плюхнулся рядом на лавку мужчина, показалось Шербану постарше, но тоже крепок и прилично одет.

Разговорились. Появилась на свет вторая бутылка пива. Неведомо как незнакомец распознал в Шербане «освобожденца». Оказалось, и сам два раза уже мотал срок, сначала пять, потом восемь лет. За что? Из Ташкента фуры перегонял с товаром, а в запасах и всех возможных машинных недрах – наркоту. Рассказывал смачно, с подробностями. – Завязал? – спросил Шербан. Незнакомец то ли утвердительно, то ли сокрушительно качнул головой. Потом сказал: «Сейчас лафа, поезд Москва-Пекин-Москва». – А как же? – было заикнулся Шербан. Незнакомец усмехнулся: «Понятно, да? Денежки. Они все решают. Абсолютно надежно».

На этом их беседу прервали. Незнакомцу позвонили по сотовому телефону. Он долго слушал, потом сказал: «Аглая, не суетись. Все будет хорошо. Успокойся». Убрал телефон и обратился к Шербану: «Дорогой, спасибо за угощение, но тебе лучше уйти. Ко мне тут сейчас ребята придут, поговорить надо».

Шербан не заставил себя уговаривать. Он вышел из-под полога и перебрался на детскую площадку. Сел неподалеку, где потемнее. Казалось, какая-то неведомая опасность стучится в тусклом свете дворовых фонарей. Не прошло и пяти минут, как из проулка меж двух домов появилась группа молодых людей и проследовала на спортплощадку, где оставался сидеть незнакомец с такой теперь уже понятной судьбой. Их было пятеро. Что-то там происхо-

дило похожее на борьбу, потом раздался сдавленный крик, и все стихло. Так же как и прошли, молодые люди медленно удалились. Незнакомец оставался сидеть, за полупрозрачным пологом виден был абрис его тела. Шербан ждал когда тот окажет признаки жизни, но силуэт оставался недвижим. Стемнело. Шербан колебался. Уйти? Не таков он был. Уже поняв, что произошло, он поднялся и быстро прошел на спортплощадку. К счастью, двор был пуст. Незнакомец сидел, привалившись мертвой головой к пластиковой стенке, глаза его были открыты, а из надключичной впадины в распахе ворота торчал нож, по самую рукоятку утопленный в мертвую уже плоть.

Шербан присел рядом. Увиденное вряд ли могло потрясти его. Не раз уже ставила его жизнь перед чем-то подобным. Он понимал одно – надо что-то делать. Протянул руку и достал из кармана убитого телефон. Последний звонок? – он нажал на кнопку соединения. «Аглая?». Шербан с удивлением почувствовал, что у него дрожит рука. Он давно не слышал женского голоса так близко и так соблазнительно обволакивающего музыкальными обертонами совсем по сути простые фразы. Разговор был коротким. Она прибежала через несколько минут, очевидно, притон был где-то рядом.

Она поразила его – не столько внешностью, сколь тигриной повадкой, была похожа на черную пантеру, бесшумно скользнувшую под навес и застывшую над ним в охотничьей стойке. С минуту молча смотрела в мертвые глаза, потом обратила взгляд на Шербана. «Кто ты?». Он замялся. «Я случайно здесь». Она испытующе смотрела на него черными горящими глазами. Пряди черных волос обрамляли восковое лицо, будто выточенное из мрамора искусным резцом. «Пойдем со мной». «А как же...?» «Быстро!»

Она взяла его за руку и потянула за собой. Они вошли в ближайший подъезд восьмиэтажки, отгородившей двор от улицы, поднялись на лифте. В полутемной прихожей забрали спортивную сумку и чемодан. Вещи были заранее приготовлены, как бывает когда собираются уезжать, и что-то непредвиденное вдруг задерживает. Хорошо если это не смерть, подумал Шербан.

– Как тебя зовут, – спросила Аглая.

Шербан назвал.

– Проводишь меня? Только ни о чем не спрашивай. Забудь о том, что ты видел. Если ты свободен, поедem со мной.

Он был свободен, однако все это было так странно, что ему даже не пришло в голову спросить — *куда?* — он покорно кивнул, взял вещи, и они вышли.

На Киевском вокзале Аглая сдала два теперь уже ненужных билета. С прошлым было покончено. Куда ты хочешь? – спросила. Шербан сказал: «В Керчь», Это, подумал, совпадает с его планами. Они взяли двухместное купе до Киева. Поезд отходил в двенадцать ночи. Он пошел в ресторан, принес бутылку коньяка, бутерброды. Выпили. Сначала за упокой убиенного. Потом со знакомством. Кто он тебе? – спросил Шербан. Никто, сказала Аглая, постоялец. Потом добавила: «Общее дело задумали. Только и всего. Предупреждала – плохо будет. Хотел долги получить».

– Какие долги? – не удержался Шербан

– Завтра скажу. Давай спать.

Когда улеглись, она в темноте протянула руку и позвала к себе.

Они остановились в гостинице «Украина». На Крещатике гомонил Майдан. Когда уже расположились в номере, Аглая подошла к окну и долго смотрела вниз, будто оценивая обстановку на улице. Отойдя, сказала: «Это нам и нужно».

– Что ты имеешь в виду? спросил Шербан, – Я не понимаю. Разве мы не едем в Керчь?

– Нет, мы не едем в Керчь. Мы будем работать здесь.

– Работать?

– Да. Смотри, – она открыла чемодан и достала жестяную коробку. На крышке была изображена конфетная укладка в обрамлении иероглифов. – Понимаешь?

– Нет, – сказал Шербан.

– В этих конфетках запакован килограмм кокаина. Один грамм – двести евро. Международная цена. Посчитай. Двести тысяч евро. Мы миллионеры.

Шербан от этих расчетов совершенно потерялся. Миллионеры? Да, но как...? Продать же надо!

Они вышли на Майдан рано утром. Только еще светало, и было сравнительно тихо. Кашевары трудились у котлов. Катапультисты отдыхали. Отдельные группки хлопотали над «коктейлями Молотова». «Беркут» стоял двумя черными стенками, вырезав на Крещатике пятисотметровое поле буйствующей анархии. Шербан был неробкого десятка до зоны еще. Ладно сложен и крепко сшит, мог сойти за своего. Единого центра не было, казалось, все сами по себе. Аглая было спокойна. Одного их кашеваров спросила: где самый главный начальник? Тот махнул рукой в сторону гостиницы «Украина». Кто? – спросила Аглая. Комендант Майдана, сказал кашевар. В гостинице? – спросила Аглая. Кашевар согласно кивнул. Идем обратно, сказала Аглая.

Они вернулись в гостиницу. Аглая подошла к конторке и спросила: в каких апартаментах комендант Майдана? Ей назвали номер. Они поднялись на третий этаж и тут же наткнулись на дюжих охранников. Комендант занимал весь этаж. По личному вопросу? Их бегло ошупали на предмет оружия и пропустили.

Это оказался маленький невзрачный человечек с глазами умалишенного. Сделку заключили быстро. Он берет всю партию оптом. Для поднятия революционного духа все средства хороши. В топку надо подбрасывать горячего. Демократия требует жертв. Украина таки прорубит себе окно в Европу.

На столе появилась бутылка коньяка. Аглая достала из сумочки конфетку – подарок. Комендант вежливо поблагодарил. Выпили – за успех Великой Украинской Революции. Шербан принес коробку. Это первая партия, сказала Аглая. Если уважаемый комендант пожелает, поставки будут следовать в соответствии с заказами. Еще немного светской беседы, обмен «позывными», и они ушли. В сумочке у Аглаи остался лежать чек в Национальный банк Украины, подписанный неким Д. Брайденом, и «охранная грамота» – пропуск на бланке СБУ Украины.

Нас убьют, сказал Шербан, мы даже не успеем дойти до банка. Аглая усмехнулась. «Не думаю. Деньги-то чужие. Ты видел его глаза? Это фанатик. Фанатики – люди действия. Они убивают – но только за идею. Не из-за денег. Вспомни Французскую Революцию. Тоже ведь „великая“. И наша Октябрьская – не лучше. Но главное – он будет ждать следующего заказа. Демократия ненасытна».

Они благополучно получили деньги и отправились в Крым. Вскоре в Ялте открылся небольшой отель с поэтическим названием «Аглая».

Едва Крым отринул ненавистное бандеровское иго, я поспешил припасть к его многострадальной груди. Мне не терпелось пробудить впечатления, питавшие мою «севастопольскую страду» – моего «Шпиона неизвестной родины». Вновь увидеть Ялту, город моей мечты! Я воспел его безымянным в «Железных зернах».

Я шел по ялтинской набережной, удаляясь от Морского порта. Вспоминал. Передо мной вставали годы – пятьдесят пятый, пятьдесят шестой, годы моей студенческой юности, окрашенные в тона беззаботного веселья. Тирания пала, прогнулся «железный занавес», повеяло оттепелью. Все говорили по-русски, но все вывески были на украинском. Казалось, это не предвещает ничего плохого. Нам не дано заглянуть на полвека вперед.

В порт вошла туристическая «Бретань». Мы танцевали на причале «буги-вуги» с милыми француженками под звуки джаза. Музыканты в шутовских одеждах восседали на самодельных подмостках.

Я искал пристанища. В дальнем конце набережной я увидел небольшую двухэтажную гостиницу. На фронтоне прочел: «Аглая». Я вошел. Навстречу мне из-за конторки вышел коренастый мужчина лет пятидесяти. Представился – Максим Шербан, администратор. Мы обменялись рукопожатием. Меня поразило будто вырубленное из камня его лицо. Я подумал – господи, вылитый Жан Габен! Он проводил меня в номер..

Нередко случается так, что люди с первого взгляда проникаются взаимным доверием. Мы подружились. Тогда он и рассказал мне эту удивительную историю

## Марго (Из цикла «Украина в огне»)

*«В пасмурные дни, когда везде,  
за исключением больших кафе,  
бывало холодновато, я пристрастился  
проводить время в кафе «Веплер»  
часок-другой перед ужином».*

*(Генри Миллер, «Тихие дни в Клиши»)*

Для начала немного истории. Первый американский министр обороны Джеймс Винсент Форрестол выбросился из окна военного госпиталя с криком: «Русские идут!» При всей несуровости этой ситуации, спятившего генерала можно было понять: русские тогда не просто шли – они летели вперед на крыльях великой Победы, так что Сталину приходилось даже сдерживать маршалов, готовых бросить клинья своих танковых корпусов и дальше, к Ла-Маншу. А Уинстон Черчилль в своей «фултонской речи» провозгласил тезис о «железном занавесе», вскоре надвое разделившем планету.

Не прошло и семидесяти лет, как судьбу несчастного Джеймса, впрочем, с поправкой на время и обстоятельства повторил Чарльз Гридлав – главнокомандующий объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе.

Главное отличие состояло в том, что несчастный Чарли кричал, точнее сказать бубнил не «Русские идут», а нечто более зловещее. Накануне в своём интервью на радиостанции «Европул» он как заведенный повторял: «Убивать русских! Убивать русских! Убивать русских! Убивать русских! Убивать русских! Убивать русских! Убивать русских!» Его пытался остановить ведущий, задавал конкретные вопросы об американской политике в Европе, о дальнейших планах НАТО, о мотивах введении батальона спецназа США на территорию Украины. Но едва только Гридлав пытался отвечать на эти вопросы, как тут же сбивался на «Убивать русских!». В конце концов это всем надоело, и Гридлава отправили домой. Дело было в Париже. Один из оплотов европейской демократии был несколько раздражён поведением высокопоставленного американца, но сделал вид, что ничего особенного не произошло. Отпустили разгневанного генерала, даже не заподозрив у него признаков маниакально-депрессивного психоза.

А дальше события развивались, как говорят, непредсказуемо, но если вернуться к незабвенному Форрестолу, то их логика вполне укладывается на тех же лекалах.

Покинув радиостанцию, Чарли зашёл в своё любимое кафе «Веплер» на углу площади Клиши, уселся за стойкой бара и заказал двойную порцию виски, попросив, против обыкновения, не разбавлять водой. Залпом проглотил выпивку и обернулся в зал. Он до сих пор чувствовал необыкновенное возбуждение и прилив сил. Что говорить, убийство, даже виртуальное – величайший наркотик. Он закурил сигаретку с марихуаной. Неподалёку за столиком сидела молодая женщина, она была хороша собой и отнюдь не похожа на жрицу платной любви. Он любил таких. Подумал – *из новеньких*. Он часто заходил сюда, предварительно отпустив охрану. До гостиницы было недалеко. Ещё двойная порция, и с бокалом в руке он сошёл в зал и подсел к её столику. Она приняла его выпад весьма дружелюбно, как будто бы случайно встретив старого знакомого, однако слегка покраснела. Как всегда уверенный в себе, он заказал выпивку на двоих и попытался вовлечь её в разговор.

– Прошу прощения, вы кого-то ждёте?

– Нет, – она немного помолчала, – впрочем, возможно я ждала именно вас. Некоторое время тому назад я видела вас вон там. Вы призывали убивать русских, не правда ли?

Они говорили по-французски, но даже его уши иностранца уловили в её речи акцент, не свойственный природным француженкам.

Он поднял глаза и увидел неподалёку укреплённый на стенке телеэкран. Проклятие, подумал, никуда не скроешься от этих ненавистных вездесущих глаз. Он ощутил неудобство, но отступление не было свойством его характера.

– Только не подумайте, что я делаю это по велению сердца. Я человек мягкий, незлобивый. Но то, что творят русские на Украине просто возмутительно

– Правда? – она распахнула свои прелестные зелёные глаза в знак величайшего удивления, – увы, я не разбираюсь в политике.

– Они разваливают страну! Кстати, будем знакомы. Чарли.

– Марго. Я уже знаю кто вы, можете не продолжать.

Они обменялись рукопожатием.

– Так вот, – для начала предлагаю тост «за свободу Украины». – Гридлав поднял бокал.

– С удовольствием! – Марго пригубила напиток, это был «шартрез». – Вы сказали – разваливают? И как им это удаётся?

– Русская армия оккупировала Донбасс. – Гридлав почувствовал, что пьянеет. – Они творят беззакония. Обстреливают мирные города из тяжёлых орудий. Тысячи убитых. Десятки тысяч ранены. Западный мир в шоке.

– В шоке? – она прихлебнула шартреза. – Я тоже в шоке! Хорошее вино, – она помолчала. – Но я надеюсь, великий атлантический альянс достаточно силён, чтобы остановить русскую агрессию.

– Безусловно! За нашу победу! – Гридлав залпом опрокинул свою порцию виски и попытался захватить в плен её маленькую изящную ручку, лежащую на столе свидетельством абсолютной доверительности. Но вместо того странным образом натолкнулся на стакан с вином и чуть не расплескал его. Он терял ориентацию.

– Прошу прощения, – он подозвал официанта и заказал ещё порцию виски. Надо было срочно «добавить»

– За нашу победу! – Марго подняла бокал и сделала несколько глотков, явно смакуя вино и заодно всю сложившуюся ситуацию.

Гридлаву показалось, что она произнесла это с каким-то нажимом, но не придавал тому большого значения. Ему не терпелось, как он обычно выражался, «взять даму на абордаж». Он почувствовал возбуждение.

– Вам не кажется, что здесь становится душно? – Марго извлекла из ридикюля веер и стала им усиленно обмахиваться.

– Совершенно с вами согласен. – Он хотел было встать со стула, но не удержался на ногах и снова сел. Принесли «добавку», он расплатился и одним глотком с ней справился. Марго нежно взяла его под руку, приподняла и поставила на ноги. Они вышли под покров весенней парижской ночи. Монмартр был как всегда прекрасен. Гридлав был в той стадии опьянения, когда оно избавляет от мира внутреннего, впуская в нас мир внешний. Рядом была прекрасная женщина, которой он скоро будет обладать. На воздухе ему стало легче, ноги ступали твёрдо, он ощутил себя Терминатором. Его любимый герой. Теперь он словно вживался в этот образ. Не лишённый эстетических пристрастий, очень кстати вспомнил отрывок из Генри Миллера, своего знаменитого земляка. Желая произвести впечатление на даму, припомнил и огласил цитату.

– «Монмартр тускл, приземлён, беспризорен, откровенно порочен, продажен, вульгарен».

Марго насторожилась:

– «Тихие дни в Клиши»? С тех пор он сильно изменился и стал нежным, дорогим, зачаровывающим. Вы согласны?

Он был согласен. Они медленно спускались по улице Клиши к бульвару Осман, и вскоре оказались у подъезда отеля, где апартаменты Гридлава занимали целый этаж. Впрочем, это была старая фешенебельная гостиница, где на каждом этаже был только один двухкомнатный номер.

Когда они вошли, Гридлав тотчас отправился к бару и наполнил два стакана – себе виски, даме шартрез. Надо было срочно «добавить». Его клонило ко сну. Марго молча оглядывала претенциозный интерьер. С бокалом в руке подошла к окну, посмотрела на улицу.

– Чарли, дорогой, а знаешь ли ты, что на бульваре Осман, 102 мемориальная квартира Марсея Пруста? Ты любишь Пруста?

Она обернулась. Гридлав сидел на маленьком двухместном диванчике в стиле рококо со стаканом в руке и что-то бормотал себе под нос. Она подошла к нему и присела рядом.

– Я не расслышала. О чём ты? Повтори, пожалуйста. Ну, Чарли, не вешай голову, я теряю собеседника.

Гридлав встряхнулся и попытался отчётливо повторить то, что он недавно услышал от своего вышестоящего начальника. Ему это, очевидно, как говорят, легло на сердце.

– Мы будем.. давить.. на русских... чтоб им было.. больно.. и чтоб они... умирали... за демократию...

– Ну, Чарли, опять ты об этих русских! Дались они тебе!

Гридлав поднял голову и распрямил плечи. Он вспомнил, что он Терминатор. Марго, не выпуская из рук бокала, слегка прижалась к нему.

– Марго, ты моя королева Марго. В детстве я зачитывался тобой.

Она засмеялась и склонила головку на его плечо.

– Ты любил Дюма? Наверно у тебя было счастливое детство?

– О, да! У нас была большая семья. Две сестры, три брата. Ранчо в Техасе. А потом я уехал в Вест-Пойнт. Военная академия. И пошло-поехало. Дослужился до... Ну, сама знаешь. И вообще, Марго, не пора ли...?

– Чарли, о чём ты? – она изобразила из себя абсолютную невинность, – Ах, да, извини дорогой! Ты хочешь сказать, что пора нам... перейти... в спальню? Я правильно тебя поняла?

– Марго, ты прелесть как хороша! Помоги мне встать! Пойдём.

– Одну минуту. Я пойду приготовлю постель. Отдохни пока.

Гридлав остановил её:

– Постой! Вот в чём дело. Даже не знаю как сказать.

– Говори, дорогой, не бойся.

– Я кажется перепил... ну, и понимаешь... может быть не смогу...

Гридлав давно ощущал угрожающие признаки полового бессилия. И всякий раз, беря женщину, был в себе далеко не уверен. Марго поторопилась его успокоить.

– Какие глупости! Всё зависит от женщины. Ты настоящий Терминатор! К тому же, как говорят, если у тебя есть язык и руки, ни одна женщина не останется на тебя в претензии.

– Но я очень соскучился...

– Да? – Марго проявила неподдельный интерес, – о ком же?

– Я соскучился... по женской спине. Женская спина – восхитительная тропа, пролегающая по холмистой равнине ко взгорью, таящему в своих расщелинах райские сады.

Она рассмеялась.

– Чарли, ты настоящий поэт! Ты, верно, пишешь стихи?

– Это ты пробудила во мне поэта. Моя королева Марго. Я влюблён. Если я не смогу... ну, ты понимаешь... просто полежим рядом.

– Хорошо, – она помолчала, – но я надеюсь, ты мне заплатишь?

– Господи, Марго, я тебя озолочу!

Она помогла ему встать на ноги, поддерживая под локоть, провела в соседнюю комнату и усадила на край гигантской белоснежной кровати.

– Я помогу тебе раздеться.

Гридлав не возражал. Она стянула с него пиджак, сняла туфли и, подхватив под коленные сгибы, уложила поверх покрывала, как укладывают в постель засыпающего ребёнка. Он и впрямь уже засыпал. Напоследок приподняла его голову, подсунула под неё подушку и вышла из комнаты.

Подойдя к столу, где лежал её ридикюль, Марго на мгновение задумалась. Потом достала из начатой пачки сигарету, прикурила от зажгалки. Подошла к окну, закрыла фрамугу. Снова вернулась к столу. Взгляд её упал на часы – белый, похожий на фарфоровую тарелку циферблат над дверью спальни. Минутная стрелка безостановочно плыла по кругу, воочию представляя утекающее время жизни. Это недавнее дьявольское изобретение раздражало Марго. Она всегда полагала, что часы должны указывать только на мгновение вечности, не повергая в раздумье о преходящем времени.

Она раздавила в пепельнице окурок и снова заглянула в сумочку. Слегка покопалась в ней, как это делает обычно женщина, ища пудреницу или губную помаду, или флакончик духов, чтобы освежить виски и провести по шейке, там где предполагают отпечататься следы поцелуев.

Однако цель её состояла в другом. Но прежде чем достать то, что ей было нужно, Марго вернулась в спальню. Гридлав безмятежно спал, лёжа на спине, молитвенно сложив на груди руки – крупные кисти крестьянина, когда-то, верно, немало потрудившиеся, а теперь ухоженные, умащённые маникюром, с безукоризненно обработанными ногтями. Она подумала – красивые руки, как жаль...

В ванной комнате она нашла большое махровое полотенце. Вернулась в гостиную. Извлекла из сумочки изящную дамскую «беретту». Вошла в спальню, быстро накинула полотенце на голову спящего, приставила дуло к тому месту, где круглился лоб, и спустила курок. Щелчок едва ли слышен был даже в гостиной. Незадачливый «убийца» только вздрогнул, как, бывает, вздрагивают во сне от чего-то привидевшегося и просыпаются в холодном поту. Но вечный сон уже ничто не может встревожить.

Когда она не торопясь вышла из гостиной, на прощанье послав портье воздушный поцелуй, на бульваре Осман как всегда царило оживление.

Агент «Мата Хари», позывной «Марго», была очень обидчивой русской женщиной.

## Письмо (Из цикла «Украина в огне»)

Старик писал письмо.

«Здравствуй, дорогой Сидор Артемьевич! Как ты там? Пишет тебе твой бывший ординарец Микола Шербан. Заставила меня взяться за перо большая беда, вновь пришедшая на нашу святую землю. В народе говорят – черный дьявол наслал. А то, что разразилась в России вторая гражданская война. Брат на брата пошел. Ты-то, верно, и первую помнишь, чай воевал ведь под знамёнами Василия Ивановича Чапаева. Но чтобы так – с самолётов бросать бомбы на мирные города и деревни, обстреливать их из артиллерийских орудий – такого ведь не было, правда? Ну, рубились, врукопашную, кто кого. А что бомбить – гибнут только женщины и дети, да старики вроде меня. Мне ведь уже девяносто четыре. Я смерти не боюсь. Но со мной рядом-то – дочь, внучка два правнука-подростка и еще правнучка – три годика. Их-то за что?»

Он отложил перо, задумался. Встал, подошёл к распахнутому настежь окну. В отдалении были слышны разрывы. По окраинам била артиллерия. С высоты пятого этажа погруженная во мрак улица казалась черным провалом. Уже несколько дней в доме не было электричества, не было воды. В комнате бились отсветы недалекого пламени, в соседнем квартале горел дом. Ревом пробороздил небо вертолет и скрылся за верхушками пирамидальных тополей.

В дверь заглянула дочь, позвала к столу. Он отказался. Есть не хотелось. Зачем? Просто лечь и ждать смерти. Какая разница от чего умереть – от голода, от бомбы. Вспомнились чьи-то слова – «просто сиди и жди, и тебя убьют». Кто же это сказал? Ему показалось, что с тех пор как десять лет тому умерла жена, он только и делал что сидел и ждал смерти. А она все не приходила. Ну вот, теперь уже и приблизилась. Вплотную. Старик подумал об этом даже с каким-то странным удовлетворением. Над Славянском стучалась еще одна смертельна ночь.

Мысль о жене вернула его к действительности. Нет, не к этой – к той, далекой, во сто крат более реальной, чем нынешняя, отдающая кошмарным сном. Вспомнил как познакомились в партизанском отряде, полюбили друг друга, как прошли вместе через всю Украину, от Путивля до Карпат, как сыграли партизанскую свадьбу, одну из многих на этом славном пути, по которому вел их незабвенный Сидор Артемьевич Ковпак. Старик подошел к книжному шкафчику, достал дорогой сердцу томик – «Люди с чистой совестью». Мудрый был командир, подумал старик. Да и что говорить – то была честная война. «Честная?» Мысленно сказав это, он вроде бы споткнулся. А почему нет? Один на один. Мы – они. Кто кого. Ясно кто враг. Его надо изгнать. А что сейчас? За что воюем? И как бы устыдившись этой своей неуверенности, тут же и сказал самому себе: *за Россию-матушку*. Подумал – Крыму повезло. А мы чем хуже? Чем хуже Новороссия? Страшно сказать черному дьяволу – геть, сгинь нечистая сила? Было же заявлено – «своих не сдаем»! И что? Сдали, все сдали. За тридцать «газовых серебрянников». Странная война, подумал, одна рука воюет, другая торгует. И совсем расстроился, как представил, что и газа в доме не будет.

Шербан пошел на кухню, сел на своё место. Керосиновая лампа еле теплилась, он подвернул фитиль.

– Всё собрали в дорогу? – спросил он.

– Собираются. Завтра в пять выезжаем. Поедем на Должанский, там наши границу открыли. А эти вояки оружие побросали и ушли. Хорошо не попортили. Далеко не уйдут. Головы им открутит еще наше любимое правительство, – Григорий свернул самокрутку, закурил. Неверный свет вырывал из тьмы его лицо со следами недавнего ожога, перебинтованная голова тяжело клонилась над кистями рук, лежащими на столешнице. Шербан любил своего зятя. Шахтерская закваска. В шестьдесят с лишком взять в руки оружие! Не каждый способен.

Галина поставила на стол тарелку с овсяной кашей. Знала, что отец ничего больше не захочет.

– Остыла уже, – она налила полстакана горилки, подала. Это было то, ради чего он и приходил-то к ужину. Снотворное, говорил, и чтоб ноги не мерзли.

– В добрый путь. – Шербан поднял стакан, пригубил, начал есть.

– Что Максим написал? – спросила Галина.

– Освободился сынок. Хочет в Крым податься. По дороге собирается к нам забежать. А что к нам ехать. И как? Мужчин не пускают. И чего ехать под бомбы? Теперь вот еще зажигалки бросают какие-то особенные.

– Фосфорные, – пояснил Григорий. – От них спасу нет. А хунте крышка. Максим к нам собрался – это хорошо, подмога будет.

Взвыла сирена воздушной тревоги. Галина не торопясь убрала со стола и вышла.

– Надо детей в убежище, – сказал Григорий, – пойду. Еще машину заправить.

Шербан остался один. Все знали – не прячется. Сидел, потягивал горилку, думал. Вот уже три дня его правнуки были сироты. Он вернулся в свою комнату и вновь принялся за письмо.

«Вот так-то, дорогой Сидор Артемьевич. Убивает нас собственное правительство. Гриша говорит – хунта. Не наше слово. Шайка бандитов – это точно. Наместники дьявола, фашистские ублюдки. Наследники хорошо нам с тобой знакомого Степки Бандеры, которого мы громили и гнали с нашей земли. А теперь вот они вернулись во власть и хотят нас напугать танками, пушками, бомбами. А того не понимают эти шоколадные марионетки, что всё решается в рукопашном бою. А тут русским нет равных, ты знаешь. Завтра утром, после отбоя мои уезжают в Ростов. Внучка и правнуки. А мы остаемся. Зять мой в ополчении командует, дочка работает в новой власти. У всех своя судьба. Что до меня, то думаю – скоро мы с тобой встретимся. На том остаюсь, верный твой ординарец Микола Шербан».

Поставив точку, старик вложил исписанной листок в конверт, запечатал его, надписал адрес: «Герою Советского Союза Сидору Артемьевичу Ковпаку. НА ТОТ СВЕТ».

Едва стало светать, бомбовозы ушли. Наступило затишье. Все спустились во двор, где стояла машина. Снесли вещи, погрузились. Шербан расцеловал маленьких. Не сдерживая слёз, обнял внучку, тринадцать дней назад оставшуюся вдовой. Отдал ей приготовленный конверт.

– Когда будешь в Ростове, брось в почтовый ящик.

Мария взяла письмо, не глядя сунула в карман.

– Дед, береги себя. И ещё, зайди на могилку Васи, посмотри как он там Может прибраться надо. Верно, и фотография намокла. Тогда забери ее домой. И на сорок дней тоже...

Когда все расселись, Григорий пожал старику его еще крепкую ладонь, захлопнул дверцу. Шербан обошел машину с другой стороны, поцеловал дочь. «С богом».

И долго ещё смотрел им вслед. И несколько раз осенил крестом теперь уже пустынную улицу.

## **Быстрый или мёртвый** *(Из цикла «Украина в огне»)*

В конце мая 2015 года американский посол в Киеве Джеффри Прайт получил письмо от своего племянника из Техаса Гарри Моргана. Тот писал, что на днях увидел по «спутнику» передачу, где некий украинский офицер командует артиллерийским дивизионом, обстреливая банду донбасских сепаратистов. И он просит дорогого дядюшку найти этого мужественного человека, который рискует жизнью во имя свободы и независимости Украины, а если можно, то и передать ему привет от простого техасского фермера. Гарри хотел бы также узнать его имя и позывные для связи по телефону, чтобы лично выразить своё восхищение.

Посол Прайт был несколько озадачен столь необычной просьбой племянника, которого помнил ещё мальчишкой. Они так давно не виделись, что Джеффри почти даже и забыл о его существовании, хотя из переписки с сестрой, матерью Гарика, знал, что дела на ферме идут неплохо, если не считать брожения техасских умов, возжелавших отделения от Вашингтонской метрополии по примеру Донбасса. На это Джеффри только посмеялся. Он-то хорошо знал, как это бывает и чего стоит. Выходец из Техаса, много поработавший разных странах Азии, Европы и Латинской Америки, прошедший политическую выучку в администрации президента, он чётко представлял свои задачи посла – подчинить американскому диктату ещё одну страну в центре Европы, чтобы стать барьером на пути русской агрессии.

За два года своей посольской миссии Джеффри Росс Прайт успел полюбить эту страну и её доверчивый народ, так похожий на простых американцев. Он хорошо помнил, как на киевском «майдане незалежности» они с Викой Гуланд угощали митингующих «печеньками», тем самым выражая горячую американскую поддержку борцам за свободу. Правда, не обошлось тогда без маленького скандала – АНБ подслушала их переговоры, когда несдержанная Виктория материлась в адрес Евросоюза. Но чего не бывает даже в дружной семье.

Он полюбил Украину с её мягким климатом, её раздольными степями. Учил украинский язык. Напевал про себя, – но почему-то по-русски, которым неплохо владел, – «тиха украинская ночь, прозрачно небо, звёзды блещут, своей дремоты превозмочь не может воздух, чуть трепещут...» Он уже любил Украину любовью захватчика, созерцающего плоды своих завоеваний.

Идя навстречу пожеланиям племянника, Джеффри предпринял розыск, и вскоре в его руках оказалась видеозапись материалов, связанных с недавним обстрелом Горловки. На фоне изрыгающих гром и пламя тяжёлых артиллерийских орудий красовался средних лет упитанный украинский офицер с лицом завязанного алкоголика. Он обнимался с каким-то западным корреспондентом, похваляясь мощью подвластной ему убойной силы. Бил по жилым кварталам несчастного провинциального городка в окрестностях Донецка.

Увидев эту картину, американский посол Джеффри Росс Прайт почувствовал себя несколько обескураженным. Он доверял украинским каналам, их сообщениям о коварстве сепаратистов, о «тактических подразделениях» российских войск на Донбассе и тому подобным «вбросам», которые к тому подкреплялись выступлениями официальных лиц и правительственными сообщениями. Не то чтобы доверял, но, как говорят, искренне хотел верить.

Теперь же перед ним открылась иная картина. Бесстрашные русские корреспонденты под огнём украинской армии несли миру весть о зверствах фашистской хунты по отношению к мирному населению, о разрушенных огнём тяжёлой артиллерии городских кварталах, о туче смертей, накрывшей чёрным пологом эту ни в чём не повинную землю.

Джеффри Росс Прайт ощутил беспокойство. В глубине души он понимал, что во всём этом безобразии есть доля и его вины. Несмотря на дипломатическую выучку, часто калечащую своих адептов, он оставался совестливым человеком.

Добытые им сведения Прайт передал племяннику по каналам дипломатической почты.

Прошло совсем немного времени, и Джеффри с удивлением и ужасом увидел племянника в сюжете о расстрелянной Горловке. Он не поверил своим глазам. На экране компьютера перед ним предстал рослый ковбой, как и положено, с «кольтом» в кожаном «подрамнике», свисающим по правую руку, так, чтобы выдернуть его в долю секунды и сделать выстрел. Он знал эту смертельную игру техасцев – «быстрый или мёртвый». Когда речь заходила о делах чести, друг против друга на отдалении ставали двое и по отмашке «рефери» решалась судьба дуэлянтов – кто ты: «быстрый» или «мёртвый». Джеффри помнил как и сам играл в детстве в эту любимую ими игру, только стреляли они тогда мягкими резиновыми шариками из игрушечных «кольтов».

Гарри Морган, американский доброволец, стоял на развалинах частного дома в Горловке и рассказывал.

«Здесь жила семья. Мать, отец, трое детей».

Он шёл по обгорелым обломкам, битому кирпичу.

«Здесь у них была большая комната».

Он вышел в сад с побитыми, искалеченными деревьями.

«Здесь они отдыхали. Фугас разорвался в передней части дома. Отец и старшая дочь одиннадцати лет погибли на месте. Матери оторвало правую руку».

Он вышел на улицу – обыкновенную улицу донецких предместий. Везде были видны следы разрушений.

«Шестилетнему мальчику засыпало глаза осколками стекла. Он может ослепнуть. Двухлетняя девочка спала в дальней комнате. Она, к счастью, не пострадала. Хотя, как знать...»

Он обнажил голову, осенил себя крестом. Вернул на место свою ковбойскую шляпу. Он не признавал защитных шлемов.

Джеффри Прайт был уничтожен. Когда погас экран, он ещё долго сидел перед ним неподвижно, словно окаменев, и чувствовал как по всему телу разливается отвратительная слабость. Впервые за два года на Украине ему в голову пришла мысль об отставке.

Тем временем американский доброволец Гарри Морган воевал за независимость Донбасса. Он уже неплохо объяснялся по-русски. Сведения, полученные от дядюшки Джефа, помогли ему точно определить местонахождение украинской части, которая продолжала методично наносить по Горловке удар за ударом, настойчиво пытаясь сравнять её с землёй. Но главное – ему удалось выяснить имя того командира, что отдавал убийственные приказы. Им оказался выпускник одесского артиллерийского училища Тарас Наливайченко. И не только имя, но номер телефона, принадлежащего этому человеку. Возможно, это был единственный случай, когда послужило во благо человечеству всеведущее американское Агентство Национальной Безопасности. И тут дядя Джеф оказался на высоте.

На исходе одного из июльских дней 2015 года, когда отстрелявшись, майор Наливайченко направлялся в сою штабную землянку, чтобы достойно завершить рабочий день горилкой и добрым шматком сала, его сотовый телефон возвестил о чьём-то желании выйти на связь.

Тарас не сразу понял в чём дело. А когда сообразил, что какой-то американец вызывает его на дуэль, был несказанно удивлён. Однако вызов принял, и за ужином в кругу сослуживцев это событие подверглось живейшему обсуждению, по итогам которого было решено с выбором оружия подождать, поскольку бросивший вызов американец (и это было самым удивительным!) даже не сказал, когда собирается прибыть к ним на батарею. Во всяком случае, гаубицы всегда были наготове и личное оружие – «макаровы» – тоже. Автоматов орудийным расчёта не полагалось.

Утро следующего дня было тяжёлым. Впрочем как и все утренние часы всех дней, которые, как правило, оканчивались крепкой пьянкой.

Опохмелившись банкой крепкого пива, Тарас Наливайченко вышел на свежий воздух и тут вспомнил о вчерашнем странном звонке и ещё более странном вызове. Дуэль? Тарас усмехнулся.

Он окинул взглядом свою батарею. Три тяжёлых сто двадцати-миллиметровых орудия вздымали к небу могучие стволы, готовые вновь и вновь наносить удары по жилым кварталам Донецка, расположенным в восемнадцати километрах на юго-востоке

Расчёты спали. Что и говорить, это была тяжёлая работа. Подносить, заряжать. Он сам давал команду на залп. Делал это по всей уставной форме, с удовольствием позировал заезжим западным корреспондентам. Особенно любил американцев. После работы поил их украинской горилкой. Американцы были весёлые, добродушные, часто дарили свои зелёные купюрки – «капусту». Для капусты у Тараса была особая захоронка. Известно, со времён потопа война была выгодным делом. Один из гостей так и сказал ему – война это бизнес и ничего больше. Похлопал по плечу и добавил – конечно, рискованный, но это уж как повезёт.

Тарасу везло. Он обошёл батарею. Отметил следы неряшливости в обращении с отработанным материалом – отстрелянные гильзы у третьего расчёта не были должным образом складированы.

За перелеском на просёлке остановился легковой автомобиль с эмблемой ОБСЕ и американским флажком на капоте. Ещё один, подумал Тарас. Но тут его обожгло. Из машины вышел человек в ковбойской шляпе с гранатомётом на плече.

– Заряжай! – услышал Тарас.

Пришелец остановился метрах в тридцати от позиции батареи.

Тарас Наливайченко был неробкого десятка. Военная косточка. Он не торопясь навёл ближайшую пушку через ствол в пояс стоящего. Зарядил, вышел из-за щитка, держа в руке спусковой шнур.

– Огонь! – скомандовал пришелец.

Тарасу показалось, что он сделал выстрел.

Но это была всего лишь пуля «быстрого» кольта, которая поразила его раньше, чем он сделал смертельный рывок.

Гарри Морган неторопливо снял с плеча гранатомёт и тремя выстрелами разнёс в клочья братоубийственную батарею.

Расстрельная команда в землянках продолжала спать. Люди были утомлены многодневной работой уничтожения мирных граждан своей собственной страны.

Гарри Морган ещё немного постоял, подождал пока рассеется дым. Злосчастная батарея представляла собой жалкое зрелище. Искорёженные стволы были похожи на чью-то трёхпалую руку, воздетую с мольбой о пощаде. Он был удовлетворён. Отомщён. И это главное. Впитанный с детства ковбойский кодекс чести, полуутраченный на его родине, здесь ещё оставался жив. Око за око. Зуб за зуб. Смерть за смерть.

Он повернулся и пошёл к внедорожнику с американским флагом, стоящему на просёлке. Убрал в багажник базуку. Ополченец-водитель дремал, склонившись на руль. Гарри открыл дверь, сел рядом.

– Ну как? – водитель включил зажигание.

– Нормально, – сказал Гарри.

– Замочил?

– Ну.

Гарри Морган успел полюбить русский сленг и с удовольствием им пользовался.

– Пойду, посмотрю, – сказал ополченец. Он вышел из машины, достал из багажника автомат и скрылся в перелеске. Спустя немного времени затрещали очереди. Они длились несколько минут. Вернувшись, он молча сел за руль, тронул машину.

– Добил вшивоту? – Гарри достал сигарету, закурил.

– Дали дёру, – ополченец криво усмехнулся, – разворошил клоповник.

На блокпосту их даже не остановили. Ещё при въезде Гарри Морган предъявил удостоверение члена миссии ОБСЕ.

Благодаря Джеффри Россу Прайту, американскому послу в Киеве, всемогущее АНБ впервые попало впросак. Но и сам упомянутый посол вскоре был отправлен в отставку «по собственному желанию».

## Пианист (Из цикла «Украина в огне»)

Он был выдающимся музыкантом. Тридцать лет назад его имя украшало репертуары знаменитых концертных залов мира, а благодарная публика рукоплескала его необыкновенному таланту. Блестящий виртуоз, проникновенный лирик, он захватывал слушателей своими необычными интерпретациями мировой музыкальной классики.

Его небольшой особняк на Набережной-Луговой с видом на Днепр постепенно ветшал, неухоженный сад зарос диким кустарником, любимая старая яблоня, поверженная недавним ураганом, так и оставалась лежать символом его собственной сломанной жизни.

Ему шёл восемьдесят первый год. В этом доме он родился и прожил всю жизнь. Здесь родились его дети. Здесь он проводил в последний путь жену. Много лет назад они соединились, чтобы всегда быть вместе.

Ах, это «всегда»! – вспомнил он чьи-то слова, – которое кажется столь долгим, а кончается так скоро и так внезапно.

Он вышел на балкон. По утрам, чтобы разогреть скованные суставы, он совершал обычно небольшую прогулку – по наружной лестнице спускался в сад, шёл в дальний его конец на высоком берегу реки, садился на скамью, когда-то сделанную его собственными руками, смотрел вдаль. Мосты, купола соборов, сельские предместья, рассыпанные в широкой пойме цветным узором, вселяли в душу успокоение.

В то утро он записал первые – нотные – строки на слова своего «Реквиема»:

Над поветрием лживых и суетных слов,  
Одевающих сердце бесплотной бронёй,  
Над устоями старых днепровских мостов,  
Препоясавших воды китайской стеной.  
Над церковными главами в сонме крестов.  
Над бесстрастным молчанием чистых листов  
Опускается ночь под кровавой луной.

Правая рука после операции плохо слушалась. Кистевая контрактура, тридцать лет назад лишившая его возможности концерттировать, теперь позволяла по крайней мере держать перо и даже проигрывать мелодии, которые слетали к нему звуками эоловой арфы и ложились нотными знаками на страницах маленького блокнота.

Эта неведомо откуда взявшаяся болезнь с красивым названием «дюпюитрен», отняв пианистическую виртуозность, побудила его тем к созданию композиций. За годы затворничества он сочинил две симфонии, концерт для фортепьяно с оркестром и несколько опусов камерной музыки.

Он долго не решался на операцию. Но как это часто случается со стариками, которые перешагнув некий возрастной рубеж, загораются мечтой осуществить давно задуманное, он отметил своё восьмидесятилетие визитом в одну из московских больниц, что славилась своим «отделением кисти». Его имя открывало ему все двери.

Операция прошла успешно. Он с удовольствием погостил в семье дочери. Его уговаривали остаться в России. Двое внуков, четыре правнука. Конечно, он любовался ими, но сердце оставалось там, на берегу любимого Днепра, на родной Украине, которой он хотел посвятить остаток жизни.

Его не понимали. Он объяснял: попробуйте пересадить старое дерево, выросшее на каменистом склоне горы, – попробуйте пересадить его в ваш ухоженный сад, – вы обречёте его на гибель.

И он вернулся, чтобы написать ораторию на слова «Реквиема»

Его визит в Россию не остался незамеченным.

Ещё не совсем зажили швы на руке, когда он сел за рояль и проиграл несколько несложных пассажей. О, счастье! Он испытал давно забытое чувство свободы! Вторая часть «Лунной сонаты» потребовала немалого напряжения, но всё же подтвердила это ощущение. Он ликовал.

Однако его торжество омрачали происходящие на родине события. Вернувшись после операции, он обнаружил в доме следы обыска. Очевидно, его пытались сделать незаметным, но удалось это плохо. Рукопись «Реквиема», в его отсутствие хранившаяся в ящике письменного стола, как обычно, в идеальном состоянии, и теперь извлечённая на свет, предстала перед ним неряшливо сложенной, что свидетельствовало о вторжении чужих рук. Он понял, что сделана фотокопия, которая может послужить доказательством его гражданской неблагонадёжности.

Память вернула его в детство. Сожжённый Киев. Бабий Яр. Отец ушёл к партизанам. С Ковпаком проделал путь от Путивля до Карпат. Войну окончил в Берлине. Годы возрождения советской Украины. Учёба в Московской консерватории. Мировая известность

Он вспомнил слова Сартра: «Всякая жизнь кончается провалом».

Нет, он не таков. Пусть это будет провал, но с треском.

Он свято оберегал то место в саду, где вернувшийся с фронта отец закопал оружие. Сынок, – сказал тот перед смертью, – возможно тебе ещё придётся столкнуться с врагом. Тогда ты достанешь мой автомат и станешь защищать нашу многострадальную родину.

Вот и пришло время, подумал он. Тряхнём стариной.

ППШ и ящик с патронами он поднял на чердак. Слуховое окно открывало вид на переднюю часть усадьбы. Под прицелом оказывались чугунная решётка входных ворот и дорожка к двери в дом.

В городе бесчинствовали бандеровцы. Слышалась перестрелка.

Он ждал гостей. И они не замедлили явиться. Когда у ворот остановился микроавтобус с изображением трезубца на дверце кабины, он сел за рояль. Первые такты «Реквиема» звучали победным аккомпанементом для громогласного мегафона, который именем закона приказывал ему снять запоры и впустить службу безопасности Украины. Это продолжалось несколько минут. Затем послышались удары металла о металл и скрежет выламываемых ворот.

Он закрыл крышку рояля, поднялся на чердак и заглянул в слуховое окно. Несколько человек в камуфляже, сменяя друг друга, били кувалдой по чугунной решётке, пытаясь проломить отверстие, сквозь которое можно было бы добраться до засова, перекрывающего створки ворот, укрепленные на могучей арке-станине.

Он снял с предохранителя автомат. Ждал. Спокойно и даже с удовольствием смотрел, как трудятся стражи закона у входа в его крепость. Только сердце пустилось галопом, иногда замирая на экстрасистолах. Перед мысленным взором его проносились годы, не торопясь изменявшие семейное гнездо – от мазанки за забором-штaketником до нынешнего уменьшенного подобия замка, укрепленного его усилиями для отражения предполагаемой агрессии.

Когда чугунные ворота наконец пали, и команда взломщиков двинулась по бетонной дорожке к дому, он дал в воздух несколько коротких очередей. А потом уже не мог остановиться, пока не расстрелял всю обойму. Служба в армии не прошла даром. Теперь он вспомнил её с благодарностью. Правая – оперированная – рука не подвела и тут. Спусковой крючок был словно продолжение указательного пальца.

Мгновение, и микроавтобус с незваными пассажирами сорвался с места и умчался, напоследок огласив улицу пронзительным воплем сирены. Воцарилась тишина. Он убрал автомат

в дорожную сумку, где находилась уже рукопись его «Реквиема» и коробка с патронами, со второго этажа спустился в сад по наружной лестнице и через потайной лаз выбрался на обрывистый берег Днепра. Тридцатиметровый верёвочный трап убежал отсюда вниз песчаной тропой в зарослях кустарника. Он не был трусом, но и не хотел становиться убийцей. Бог простит – подумал, – ибо не ведают что творят. В последний раз взглянул на свой дом, перекрестил его и начал спускаться.

На причале было пустынно. Он не торопясь отвязал свою моторку и быстро вышел на стрежень. Солнце стояло в зените. Холодное лето 2015 года озарялось надеждой на избавление от фашистской чумы.

Он выключил мотор, сел на вёсла. Правая рука и здесь с наслаждением включилась в работу. Сердце постепенно успокоилось и еперь билось ровно, как в молодости. Вот что значит, подумал он, принять днажды правильное решение.

## Старик

Старик вез Мальчика в аэропорт. Он любил сына и любил невестку, но зачем, – вопрошал он, обращаясь неведомо к кому, – они отправили мальчишку за тридевять земель, в какой-то там международный, видишь ли, лагерь, а сами подались отдыхать – от кого? – от сына? Нет, они с женой никогда так не поступали. Они брали детей и ехали в Анапу, или в Евпаторию, в Геленджик. Поездом. В купейном вагоне. Отдых начинался за порогом, едва захлопывалась дверь, и они начинали располагаться на ночлег, с веселой возней и шутками, а за окном проносились благословенные подмосковные леса, поля, деревни, немудрящие дачки, и заходящее солнце стремительно летело вслед за стволами деревьев. Юг России распахивал им навстречу свои объятия неторопливо, будто нехотя, купаясь в теплой влажной истоме. На станциях к поезду стекалось местное население со съестными припасами – и чего тут только не было! И вся захваченная из дома еда, к тому времени уже на три четверти поглощенная, меркла перед роскошью «даров юга», отодвигалась в сторону и постепенно перекачивалась в мусорный бачок.

Мальчик на заднем сиденье играл с телефоном. Что-то там трещало, звонило, ухало, радостные восклицания сменялись междометиями досады, старик не выдержал.

– Послушай, Артем, убери шарманку. Посмотри, какая красота вокруг.

Дорога в Домодедово и впрямь была хороша. Над лесистыми холмами вставало солнце, высвобождало из росистой дымки разноцветные каменные особняки, словно дорогие украшения, то там, то здесь брошенные в окоем щедрой рукой. Нет, он предпочел бы видеть пасущиеся стада, элеваторы, скотные дворы, простые деревенские избы. Но ведь каждый видит и находит свою красоту. И было бы глупо отрицать *этом* пейзаж только потому, что в человеческом измерении он пронизан вековой несправедливостью. Существует неумолимая логика событий, вершащая суд и всем раздающая приговоры.

Мальчик не отвечал. Но трескотня сзади прекратилась. Уважает деда. «Дед – живая легенда». Старик усмехнулся. Скорее – *полу-живая*. Легендарное прошлое – где оно? И кто его помнит? Кто слышал о знаменитых «кузнецовских моторах»? Спроси-ка сейчас кого-нибудь. Прежде чем поднять в воздух новую машину, они десяток моторов подвергали жестокой проверке, на износ, до разрушения, во много раз превосходя ресурсную долговечность. А что сейчас? Тайна, покрытая мраком. Незадолго до увольнения ему поручили в составе закупочной комиссии отправиться в Америку для заключения контракта на поставку партии «Боингов». Они прилетели в Небраску. Пустыня. И сколько видит глаз, уходящие вдаль шеренги самолетов. Тысяча, две? Они даже растерялись. Это – что? Им сказали: отработавшие ресурс, после капремонта. За полцены. Он сделал вид, что не понял. Да они не стоят ломаного гроша. Вечером сказал председателю комиссии: пусть они засунут в свои жопы эту рухлядь, не подпишу ни одной бумаги. Тот рассмеялся ему в лицо. Оказалось, его подписи и не требуется. Просто хотели знать его мнение. Он здесь в качестве консультанта, не более того. Можете, сказали ему, письменно выразить несогласие.

Согласие, несогласие. Ты можешь не соглашаться, а тебя возьмут и уволят. Хоть ты и живая легенда. Что они и сделали. Любимое занятие охлократов – разрушение легенд.

– Артем, ты не забыл «согласие родителей»?

– Нет.

– Проверь.

– Да нет, вот оно.

Шелестит бумагами. Еще одна нелепость. Согласие родителей! А знают ли они – на что соглашаются? Мирзоев убил диспетчера, по вине якобы которого погибли дети. Несчастный Мирзоев, пойти бы тебе и застрелиться, ведь ты же наверняка подписывал «согласие», без

которого не пропустили бы твоих двоих детей в самолет. Не иначе этот был один из тех «Боингов», что так красиво маршировали в пустыне.

В огромном зале вылета они долго искали свою группу. Шейные платочки с надписью «Согласие», Ну конечно... Старик поймал себя на том, что брюзжит. Найти бы прежде туалет. Ага, вот он.

– Артем, постой минутку, я отлучусь. Мальчик покорно стал у пилона с рекламным щитом, призывающим летать в компании с «Аэрофлотом». Кажется, он даже не волновался. А ведь первый раз летит. Сколько помнил себя, старик смертельно боялся высоты. Он боялся ее во всех обличьях. В детстве не мог решиться на прыжок в воду с трехметровой площадки. Когда получали новую квартиру, выдвинул лишь одно условие – первый этаж, чем ввел в недоумение родных и друзей. Однажды прокатившись с детьми на «колесе обозрения», долго не мог избавиться от тошноты. Но едва ли не все их послевоенное поколение бредило самолетами, ракетами, бомбами и прочей подобной техникой, все хотели стать «бауманцами», «маевцами», «физтеховцами», на худой конец «менделавочниками» или «мифивцами», все прижимали к своим воинственным сердцам призрак грядущего сражения. И случилось то, что случилось – он стал одним из командиров (ныне, с грустью думал, разваленной) «оборонки».

Но страх остался. Теперь он проецировал его на внука.

Кучку «согласных» они нашли у приемки багажа под номером своего рейса. Сопровождающая, девица едва ли намного старше своих подопечных, раздавала какие-то бумажки, что надо было заполнить, очередная порция «согласий», старик притулился у свободной багажной стойки, наспех расставил галочки в окошках «да», «нет». Мальчик одобрительно кивнул, увидев «нет» по поводу необходимости хранения валюты у руководителя группы. Билеты, путевки, паспорта, еще какие-то бумаги. Образовалась маленькая суета – что брать с собой, что не обязательно. Старик собрал все необходимое и вложил Мальчику в кожаную сумочку на молнии, которую тот нес на плечевом ремне. Сдали багаж и отправились на «вылет».

Где-то на полпути возник контроль, они наспех простились, провожающих отсеки, и дети скрылись в глубине уводящего в темноту коридора. Старик повернулся и пошел к выходу.

Он был уже на полпути к Москве, когда раздался телефонный звонок. Голос Мальчика был исполнен тревоги. Согласие родителей! Старик сунул руку в карман пиджака и к изумлению своему обнаружил там это пресловутое «согласие». Черт побери! Он взглянул на часы. До отлета оставалось пятнадцать минут. Теперь он мчался вперед, ища указатель разворота. Проклятая рассеянность! Ведь он помнил, как держал эту бумажку в руках, вкладывал в общей стопке в сумку Мальчика, и каким образом она оказалась в его собственном кармане, он просто отказывался понять. Но главное – он не мог себе простить, что не дождался отлета! Почему? Не выносил вида взлетающих «Боингов», это так, и все же причина всех его промахов крылась, вероятно, в том, что в душе он был против этой затеи с заграничным лагерем.

Мальчик звонил каждые две минуты. Старик взял себя в руки. Не гнать. Если его оставят, все пропало. С вершины последнего холма наконец-то открылась величественная панорама аэровокзала. Как обманчиво это величие, подумал старик, сколько опасностей оно в себе таит. Почему раньше он никогда не думал об этом? Он еще сбавил скорость. Он был суеверен, как и все самолетчики. Хватит, он не будет спешить. Он спокойно ждал, пока поднимется шлагбаум, поставил машину у входа и пошел в зал вылета. Он шел неспеша. Он вручил себя и своего внука в руки судьбы.

Мальчик выхватил у него бумагу и побежал. Старик смотрел ему вслед, пока тот не скрылся из вида. Теперь, подумал он, все будет хорошо. Он не мог забыть того случая, когда, сражаясь со своим страхом высоты, этой странной, всю жизнь его преследующей фобией, он перебрал коньяка и опоздал на самолет. Служебные командировки всю жизнь доставляли ему

много неприятностей. Тот самолет разбился в тайге на подлете к Хабаровску. Причины остались неизвестны.

Москва встретила его автомобильными пробками. Он редко выводил из стойла своего старого конька, свою «шестерку», поэтому спокойно, даже с удовольствием сейчас пробирался через центр к дому, в Марьину Рощу. С удивлением рассматривал выросшие по пути то там, то здесь гигантские универмаги, отели, казино, офисы. Нет, это уже была не его Москва.

На одном из перекрестков ждали особенно долго. Старик опустил стекло и спросил у водителя ставшей рядом иномарки с правым рулем: что там случилось, не знаете? «Марш несогласных», – ответил тот.

Хорошо хоть кто-то не согласен, подумал старик. Он поставил кассету с записью Альбини и постарался забыть о треволнениях дня. Он слушал «Адажио соль-минор».

## Через реку и к той деревне

«Свято место пусто не бывает»  
(Русская пословица)

Врач сказал: на расстоянии метра, не больше минуты. Время может быть увеличено пропорционально удалению, однако за этим надо строго следить. Было бы лучше, сказал он, подождать четыре-пять дней – пока излучение снизится до приемлемых величин.

Чупров не хотел ждать. Когда за ним приедут, никому не будет дела до его причуд, посадят в машину и увезут домой. Кто знает, дотянет ли он до следующего «курса», три месяца срок в его положении немалый. Прямо сказано: «Вылечить – не вылечим, но жизнь продлим.» Надолго ли? Вот он – «основной вопрос философии». Сколько «быть»? И что такое – «не быть»? Как подготовиться к нему? Ведь смысл жизни – в бессмертии (кто это сказал?) В «камере смертников» надо срочно ему искать замену. Например, дело, которое необходимо завершить. Как они раньше любили говорить – *в сжатые сроки*. Они всё делали «в сжатые сроки». Любимцы партии и правительства, они изо всех сил старались оправдать эту любовь, гордились избранностью во всём, даже в праве рисковать жизнью.

Сколько ж они знакомы? Ещё с той поры, как тот работал в Шестой клинической, здесь он уже пятнадцать лет, значит не меньше двадцати. Не то чтобы дружили домами, но пере-званивались, благо прямая связь, и только выбрать время... Вот чего всегда не хватало. Он часто думал – особенно в эти дни – о людях, которые отделились из-за нехватки времени, хотя могли бы стать, он это чувствовал, близкими друзьями – просто по складу своей души. Теперь ему хотелось бы им всем о себе напомнить, «передать привет», может быть, услышать «прощальное слово». Он предпочёл бы услышать его живым, но *тогда* не «видеть» никого кроме родных. Ну, ещё пары-тройки сотрудников, без них не обойтись вынести, погрузить... и так далее. Всё за казённый счёт. Ещё набрать на поминки. Значит продавать книги. Которые соби-рал всю жизнь. Теперь все они стали нищими: и он сам, и некогда могучее Предприятие, стро-ившее вместе с другими пресловутый «ядерный щит», «оружие возмездия», которое, в сущ-ности, было ничем иным как быстроходным катафалком для всего земного. Что ж, по заслугам и получили.

На автобусной остановке было пустынно, расписания он не знал и решил подождать немного, чтобы спросить у первого, кто подойдёт от билетных касс. Он подумал, что ждать наверно придётся долго, народ не шёл; это было и хорошо и плохо одновременно – с одной стороны, если в автобусе будет слишком тесно, то он не сможет изолировать себя от всех – так чтобы не причинять вреда; с другой же – он не представлял себе, сколько потребуется времени на весь переход туда и обратно, и хотя только семь утра, а вернуться он должен не позже девяти вечера, само его состояние внушало страх своей непредсказуемостью. Улуч-шение конечно есть, отрицать нельзя, костыли, с которыми привезли его две недели назад, отставлены в сторону, их заменила трость, вполне подходящая к его сединам, а лёгкая хро-мота и «подволакивание» не лишены даже страдательного изящества. Как быстро он сможет идти – этого он тоже не знал; позвоночник разбалчивался неожиданно, без видимых причин, и тогда лишь одно могло привести в норму – лежать на спине, на жёстком, три, четыре, шесть часов, пока не разойдутся позвонки, стиснутые многочисленными, хотя и небольшими по раз-мерам опухольями. Разумеется, гигантские дозы радиоактивного йода, которыми пичкали его две недели, своё дело сделали, рентген показал резкое сокращение метастазирующей ткани, но боли всё равно были часты и хотя не достигали той силы, которую перебить можно только наркотиками, всё же не уступали «обыкновенному» острому радикулиту. Его-то он знал давно,

с молодых лет, но теперь, *в сравнении*, тот казался милой забавой скучающего от неподвижности организма.

Похоже, информация была верной. В это время дня автобусы от станции уходили пустыми: перегружали прибывших в электрички, шедшие к городу, и отправлялись за новыми партиями. «Дневная миграция». Вечером, когда он будет возвращаться, она опять поможет ему избежать контактов с людьми.

Он устроился на заднем сиденье, в углу у окна и приготовил на всякий случай рвотную таблетку. Если салон всё-таки заполнится, он выставит перед собой, выплеснет на пол озерцо зловония, спрятавшись за ним, отгородившись от людей таким радикальным, хотя и неблагоприятным способом. Существовала опасность, что и выброшенная из организма непереваренная пища тоже будет радиоактивна; врач однако сказал – фон её не может идти в сравнение с тем, что несёт он сам, его кости, наспигованные лечебным изотопом. Поэтому тот, кто будет производить уборку, не подвергнется ни малейшей опасности. Он всё же надеялся, что пятнадцать минут езды – всего-то навсего! – не потребуют этой «крайней меры».

Так оно и случилось. Ни один из четырёх пассажиров, сидящих впереди у кабинки водителя, не попытался к нему приблизиться, в его сторону даже не посмотрели; на первой остановке никто не подсел, а на второй он вышел сам.

Сколько воспоминаний пробуждается разом, когда возвращаешься в места своего детства! Нет ничего слаще – а бывает, и горше, – чем обретение въяве призраков, населяющих наши ностальгические мечтания. Когда возвращаешься «домой», как бы становишься тем, бывшим – ребёнком, юношей, – оживают чувства, полнившие *ту жизнь*, и мы наслаждаемся ими – даже если вернулись на пепелище.

Когда автобус ушёл, обдав его на прощание смрадным выхлопом, и воцарилась тишина, вместе с ней явились и другие вестники «параллельного мира» – запах полыни, не остывшего за ночь асфальта, стрекот кузнечиков, стрижи, бабочка-капустница, выписывающая в воздухе броуновскую траекторию, трава на песчаной обочине, небесная синева, солнце. Он подумал: как трудно их отделить друг от друга, они будто сливаются в одно, заставляя переживать моменты, равные по насыщенности, возможно, целой жизни. Да, именно так, прожитое отторгает от себя «зло», собирая накопленные памятью мгновения благодати в фокусе «теперь-здесь» – как увеличительное стекло собирает световые лучи, чтобы согреть, зажечь – или выжечь. Если б только можно было таким путём выжечь скверну в собственных костях!

Спина не болела. Он окинул взглядом открывшуюся даль: спуститься с холма, перейти речку дощатым мостиком и по краю села – к лесу на горизонте за распаханном полем. Километра два с половиной. По лесу ещё три, итого пусть будет шесть, ну, семь, не больше того. Когда-то он знал эту дорогу вплоть до мельчайших примет: сломанное дерево, придорожный валун, куча валежника... Конечно, всё изменилось. Не могло не измениться, последний раз он навещал её четыре года назад, за месяц до «выброса», который хотя и был, по оценкам дозиметристов, «низшей категории опасности», всё же превратил его родную деревню в «запретную зону» – по странности не обнесенную колючей проволокой и не обставленную КПП, но тем не менее обезлюдевшую на вечные времена. Дошли хотя бы до понимания, что огородки тут бесполезны: тот, кто с детства бродил по этим лесам, просто не сможет поверить, что они пропитаны теперь ядом, тем более всем известно: в деревнях остались и живут люди – несколько стариков и старух, отмоливших себе такое право – умереть в собственных постелях. Сколько их – теперь уж никто не знал.

По иронии судьбы косвенным виновником катастрофы было Предприятие, а следовательно и он сам, Владислав Чупров, один из создателей «отрасли мирного атома» (возросшей, впрочем, на отходах «военной мысли»), однако же никогда не скрывавшей своего угрожающего лица. Они давно уже вели счёт катастрофам, подобным этой, «низшей категории» (какова насмешка!), ничем, в сущности, не разнящейся от той, которая однажды потрясла мир.

Осталась в «зоне» и его старая нянька Ксения Фролова, сводная сестра покойного деда, ходившая сначала за матерью, а потом и за ним самим, не имевшая собственной семьи, вероятно, по причине бедности, неграмотности и слишком рассудительного ума. Она была уже так стара, что и не помнила когда родилась, но точно знала – здесь, в Лаптевке (какое восхитительное название носит его родная деревня! – часто думал он, даже немного бравируя таким «родством», несмотря что сам-то появился на свет в семье городских интеллигентов). Деревня была на редкость живописна: стоя на высоком холме, окольцованном у подножья речной изумрудной лентой, она своим единственным рядом домов прислонялась к еловому бору и будто от его суровости сбегала к воде множеством троп и тропинок, и деревянных лесенок, увязающих в прибрежной поросли вётел и ольхи, чтобы невидимо пробившись через неё ступить на воду сороконожками лапками стиральных мостков; и две другие – Почервина и Городёнка были столь же прекрасны, и было их даже трудно разделить одну с другой: несколько сот метров, их разъединявшие и всего лишь переводившие путника с холма на холм, не пропадали в запустении, а полнились баньками, амбарами, мастерскими и прочим хозяйственным строем, связующим три деревни, по сути дела, в одно большое село. Пожалуй что, не хватало им только церкви; ближайшая была у соседей, в трёх километрах, да и та обращена в руины. Когда они бывали тут зимой, на каникулах, то всякий раз ходили на лыжах полюбоваться величественным памятником равнодушному богу, теперь уж навсегда, верно, покинувшему их «малую родину». За дальностью дороги они редко приезжали сюда в летние поры, предпочитая снимать дачу поближе к городу, а теперь и вовсе обзавелись «участком» (отвратительное слово!), «шестисоткой», в болотистой глуши, где поставили – в соответствии с духом времени – некую стальную конструкцию военно-лагерного типа, снабжённую биркой, на которой означено её имя, время изготовления и «ящик» – изготовитель: «здание контейнерного типа столовая, 1956, п/я 918». Имея пять больших окон, этот ЗКТС был, впрочем, довольно уютен, а пристроенная позже терраса замаскировала отчасти его холодную душу.

Чупров не любил ни этот дом, ни участок («усадьбу», говорил он), ни те места: природа мстила за отвоёванные болота частыми засухами, фруктовые деревья отчего-то гибли в расцвете лет, а в дождливую пору всё утопало в грязи, потому что вода неохотно покидала глиняную тарелку, некогда вмещавшую гигантский торфяник. Ностальгия, эта старческая болезнь, возвращала память в другие места, а теперь вот привела сюда – будто извлекла из детской «корзины сказок» самую страшную, нарядила в прозаические одежды и пустила в мир.

Он постоял над водой, опираясь на шаткое перильце, отдохнул: первый – четырёхсотметровый – «этап» не то чтобы утомил его, но требовал некоторого анализа. Спина («тьфу-тьфу») по-прежнему «молчала», ноги слушались не так уж плохо, если принять во внимание, что рука успела отвыкнуть от постылой работы и сжимала рукоять палки с излишним напряжением; ладонь от этого набухла тяжестью, нечто вроде лёгкой судороги свело пальцы; впредь, он подумал, надо попробовать левую руку – неудобство окупится снятием перегрузки правой. Он посмотрел на часы: «график», составленный загодя, соблюдался, и даже с опережением.

Неширокая речка у крутого берега прятала дно под тёмной стремнинкой, зато от середины к отмели выносила его так близко, что были отчётливо видны песчаные барханчики, перемежаемые струйками тины. Движущаяся вода притягивала взгляд; теперь, когда открыли створы плотины внизу по течению, она вернулась в естественные берега, обнажила плёсы и будто помолодела. (Иногда покойник, подумал он, выглядит моложе в гробу, чем был при жизни.) Такой он и помнил реку, научившую его плавать и однажды перенесшую в потоке объятии через пугающую глубину, осторожно приподняв невесомое тело не иначе как явленным добрым чудом. Чудеса – это всё, что случается с тобой впервые. Или повторяется, когда меньше всего ждёшь и совсем потерял надежду. Тогда время исчезает, рассеивается, как туман под лучами солнца, падает завеса обмана, утвердившего *невозможность*. Обманщик тот, кто

сказал, что нельзя дважды войти в одну и ту же реку. Он просто не знал о круговороте воды. О круговороте времени. О круговороте жизни.

Здесь, на выходе из заражённой нуклеотидами «зоны» река становилась недоступной для человека: пользоваться её водой было опасно. На четырёхста километров вниз по течению по берегам повтыкали щиты с запретительными надписями, сопровождаемыми, по традиции, черепом и скрещенными костями. Пить, стирать, купаться, поливать огороды, накапливать воду в запрудах, – отныне на всё это на тысячу лет вперёд поставили чёрный крест. Один такой щит, уже основательно полинявший, торчал неподалёку от моста на двух металлических опорах, явно не рассчитанных на столь долгий срок: года через три-четыре стальные трубы изъест коррозия и ветер повалит их. Но к тому времени «водобоязнь» уже укоренится в душах и будет передаваться по наследству – от родителей к детям, – как фобия, происхождения которой никто не знает, но все принимают как должное, как норму. Не так ли, подумал он, обстоит дело с их «оборонным сознанием», десятки лет властвовавшим над умами отнюдь не примитивными и в итоге приведшим к позорному упадку? К вопиющему разрыву между инстинктом жизни и самовлюблённым нарциссическим разумом. К этой мёртвой воде под ногами. К заразе в его собственных гниющих костях. Разница между ним и этой рекой, подумал он, только в том, что она пострадала невинно, а он получил по заслугам и сполна.

Вероятно, лишь это мстительное чувство к самому себе, сродни удовлетворению, помогло сохранить ему твёрдость духа, преодолев однажды (когда вынесен был медицинский приговор-диагноз с «неблагоприятным прогнозом») ту парализующую душевную сумятицу, что называется кризисом.

Он снова двинулся вперёд, вдоль берега, оставляя слева дома отступающими в глубь другой поймы – по ручью (имени которого он не помнил), устьем раздвинувшему лесистый окоём. Перехватив палку в левую руку, он ощутил её сначала как неудобство, но вскоре тренированное тело освоило новый ритм, и он почувствовал даже прилив сил, как бывает всегда, если нагрузку берут на себя дотеле не работавшие мышечные группы. У леса остановился передохнуть и отметил время: на преодоление полутора километров ушло пятьдесят минут. Теперь он в точности вошёл в график. Замедление, решил он, обусловлено только тем, что некогда широкий, накатанный просёлок был за ненадобностью распахан, и «нейтральную полосу» вместо него пересекала узенькая стиральная дощечка-тропа, идти по которой было так же неудобно, как например шагать по шпалам: шаг упорно не хотел совпадать с «длиной волны», возбуждённой плугом.

Он раньше часто ловил себя на мысли, что немного может сравниться по красоте с лесным просёлком, пробитым где-нибудь на просторах Средне-русской возвышенности. Но теперь, перед сумрачной зелёной воронкой, уводящей взгляд в глубину леса, испытал нечто похожее на разочарование: это перестало быть дорогой; тропа, еще различимая в поле, терялась тут в зарослях травы и кустарника, и если бы не тройка мощных, из одного корня растущих сосен на «сторожевом» пригорке, где мальчишкой он имел обыкновение отдыхать перед тем как углубиться в чашу, то и не разглядел бы, пожалуй, нынешнего «входа в зону». Может быть, только так и дано понять: очарование просёлочных дорог – в их «человечности». Та, по которой предстояло ему пройти, была, по всему, нехожена так давно, что и потеряла уж право называться дорогой, став обыкновенной, в лучшем случае, просекой – ничто ни с чем не связующей. Впрочем, его не так пугали заросли как поваленные деревья: он хорошо помнил послевоенные лесные завалы в Подмосковье – они были поистине непроходимы. Только прожорливые русские печи способны были извести за короткий срок то несметное количество древесины. В сорок шестом леса уже были чисты и светлы, как будто выметены чьей-то заботливой рукой.

Его охватили сомнения: сможет ли он одолеть трёхкилометровый лесной завал? Впереди уже видны были полуповаленные стволы, уцепившиеся кронами за молодых собратьев, кото-

рые, казалось, безучастно ждали, когда иссякнут старческие силы отживших, и те наконец спокойно лягут на землю, чтобы истлеть в ненужности. Само по себе отсутствие людей автоматически (не очень, право, подходящее слово, подумалось мельком) делает местность непроходимой. Вспомнился нашумевший некогда фильм с непроясненной мыслью: три человека, ведомые некой загадочной личностью, совершают переход в таинственной «зоне», полной беспредметных угроз, однако на поверку всё это мероприятие оказывается абсолютно бессмысленным. Плохая литературная основа отомстила режиссёру чудовищной скукой. Когда расходятся литература и жизнь, первая засыхает на корню. Жизнь переполнена угрозами вполне конкретными, беспричинная тревога – удел невротиков. (Он не любил Кафку и обожал Достоевского – у того хоть было всегда ясно, откуда что.)

Углубившись в лес, он обнаружил вскоре тропинку, вьющуюся в обход заторов, и пожалел минуты, затраченные в борьбе с нерешительностью. Таковая была отнюдь не в его характере. Он всегда знал, чего хотел, и если ставил перед собой цель, тотчас же включался (он ощущал его почти как физическую реальность) мотор где-то под сводами грудной клетки. Он шутил: «могучий двигатель неостановимого прогресса». Штампы так безотказно служат вместилищем иронии! Что более сомнительного придумано, чем этот пресловутый «прогресс»? Который оборачивается то и дело регрессом. За гребнем волны с неизбежностью следует провал. Вот теперь он и спускался в один из таких провалов. (Он даже почувствовал лёгкое головокружение, как бывает на краю бездны; но, по привычке находить всему рациональное объяснение, отнёс его по ведомству общей ослабленности организма.) Неизбежность ещё и в том, что «острова регресса», подобные тому, на который он ступил, чтобы дать выход собственным ностальгическим чувствам, – эти так называемые зоны когда-нибудь, расплывшись, благополучно сольются в одну большую Зону, и та похоронит в себе близнецов-сестричек Цивилизацию и Культуру. Вместе с их чванливым «носителем» Человечеством.

Нет, он не вправе расширять свой собственный «кризис идентичности» до глобальных масштабов. (Как говорили в старые добрые времена, «сын за отца не отвечает»; при том, однако, без колебаний распространяя на детей статьи закона о смертной казни.) Он соберёт последние силы и всё-таки дойдёт, доползёт до их «родового гнезда», чтобы *увидеть своими глазами*. Пусть даже ценой жизни. Может случиться, на обратный путь не останется сегодня уже ни сил, ни желания, что ж, в таком случае придётся пожить здесь какое-то время, не всё ли равно, где пережить «остаточный фон»; если же он не вернётся, никто не осмелится по крайней мере назвать его «пропавшим без вести».

Но что, собственно, хотел он увидеть? (Идти становилось всё труднее, тропа то и дело терялась из виду, к тому же лес, бывший, сколько помнил он, всегда сухим, теперь отчего-то заболотился, ноги проваливались в топкое, а дополнительная опора, создаваемая тростью, и вовсе пропала; хорошо в кармане оказалась бечёвка, он привязал к рукояти полуметровую поперечину и взял в руку резиновый башмак; это не намного облегчило, зато замедлило передвижение.) Что? Масштаб разрушений? Но ведь четыре года – срок не достаточный для того, чтобы сами собой разрушились дома и растительность поглотила руины. Скорей всего, внешне мало что изменилось, если не считать того незримого духа тления, которым всегда пропитываются жилища, покинутые людьми. Ему уже доводилось соприкасаться с подобным – в других местах. К тому же известно, что здесь, во-первых, не проводили дезактивации, а во-вторых – люди! Может быть, он и не отважился бы идти туда, если б наверняка не знал: там находятся люди. Доказательством чему служили открытки, изредка присылаемые Бабаней. (Производное от «бабы-няни» – так он называл в детстве, – а про себя и до сих пор, – старуху Фролову, однако величая, вошедши в лета, по имени-отчеству: Ксения Матвеевна.) Он представил себе как, она бредёт через этот лес в «землю обетованную», чтобы запастись мукой, солью и спичками, а заодно бросает в почтовый ящик открытку с одним только большим жирным карандашным трестом, означающим – *жива*. Ещё лет десять тому назад он отвёз ей стопку таких открыток

с надписанными адресами и взял слово: бросать в ящик не реже одного раза в три месяца. «Кресты» приходили исправно; потом случилось то, что случилось, но «кресты» продолжали идти, и только последние полгода «связь» нарушилась. Если это можно было назвать связью. Болезнь, до сего дня ему не позволявшая выполнить свой долг – *похоронить* (он был почти уверен, что Бабаня умерла – последний денежный перевод вернулся не востребуемым), теперь не только не мешала ему, но ещё и сделала неуязвимым: что значит здешний фон по сравнению с тем, что излучает он сам! Неуязвим как Зигфрид, искупавшийся в крови дракона!

Наконец лес расступился, и Чупров обнаружил себя на краю берёзовой рощицы, сквозь театральную освещённость которой как бы виден был «задник» – ряд игрушечных домиков на взгорке на фоне тёмнозелёной полосы с пильчатым краем, приклеенной к густой синеве. Именно так: обнаружил – потому что последние несколько (десять? сто?) метров преодолел уж и не помнил как, возможно, ползком или на четвереньках; спина, долго «молчавшая», обрушилась вдруг такой нестерпимой болью, что страшно было пошевелинуться, и он понял со всей отчётливостью: обратного хода нет. Он просто переоценил свои силы. Дай бог, чтобы хватило их на тот отрезок пути, который остался до цели.

Он полулежал, привалась к еловому пню меж двух могучих корней, гиперболическими хвостами расходящихся по земле под углом в тридцать-сорок градусов и тем создающих опору для локтей; спина покоилась на подушке из палой хвои, а затылок ощущал тепло нагретого ствола, и это, возможно, был не пенёк, а ещё живая ель, но удостовериться в том он не мог – не мог поднять головы, чтобы увидеть крону. Он мог смотреть только вперёд, как из темноты зрительного зала смотрят на сцену в ожидании действия, которое непременно окажется значительным, захватит, перевернёт душу, если не повлияет на всю дальнейшую жизнь. Законные ожидания! Для того и пишутся пьесы, подумал он, хотя редкая способна «взять за горло», театр измельчал и даже не пытается потрясти, апеллируя к интеллекту и почему-то самонадеянно полагая, что именно рассудок нуждается в «пище» больше, чем «голодающая» душа.

Усмирённая неподвижностью и сухим древесным теплом, боль отступала, освобождая место для некой странной мысли: *остаться*. Нет, не то чтобы остаться и умереть под этим деревом (пнём?), он ещё соберётся с силами и переправится через реку, вероятнее всего вплавь, мостик наверняка обрушился, а лодки все на той стороне, если они вообще сохранились; но теперь понизился уровень, и нетрудно отыскать брод, он примерно помнит, где там было самое мелководье; тогда останется только взобраться на горку – и он *дома*. Остаться – навсегда? Он бы не возражал, но ясно – замысел таковой невыполним по многим причинам, и первая – та, что все, кому не лень, кинутся искать беглеца, поднимут шум, и друг его, «лекарь», лишится места, хотя в общем-то можно было сбежать и без его ведома, подкупив «охрану». На коробку конфет сестре он бы наскрёб, невзирая на обвальную нищету.

*Снарядят экспедицию.* (Он даже вслух засмеялся; спина при этом отозвалась болью вполне терпимой, тупой, и как бы лениво, для порядка, – сказались проглоченные таблетки.) А ведь это будет недёшево стоить: защитные костюмы, дозиметры, затраченное рабочее время. Тут, конечно, не поспекутся и Предприятие, для него это будет вроде расширенных похорон, своего рода пролог к основному похоронному действию. Чего-чего, а уж похоронить они умеют, советская закваска не даёт сбоя, разжиревший директорат таким путём сохраняет престиж, а «сотрудники», являясь на службу дважды в неделю, – во всяком случае многие, – только и уповают на «государственные» похороны. И то верно: с паршивой овцы хоть шерсти клок.

Второе: *как жить?* Конечно, если жива Бабаня, то и ему достанется, перельётся часть энергии, сколько он помнит, переполнявшей её сухую, истончившуюся от времени телесную оболочку. В детстве он часто болел, «не вылезал из бронхитов» (говорила мама), и всегда Бабаня приходила на помощь: на обеденном столе расстилали байковое одеяло, его клали на живот, и Бабаня расправляла над его спиной, истерзанной банками, обожжённой горчичками, – расправляла над ним натруженные домашней работой мозолистые ладошки и начинала

«облёт» (говорила мама) «больной территории». От её рук – неприкасающихся, парящих – исходило покалывающее тепло и, вероятно, что-то ещё (чему теперь так усиленно подбирают название), он бы сказал – *нежность*, вот и всё. И болезнь отступала.

По-русски это называлось «лечить наложением рук».

Кроме всего прочего (надо же было наконец себе признаться!) в нём тлела надежда: *она вылечит*. Вылечит и его больную спину, пусть даже несравнимы болезни, та и эта – всё равно, *для нежности невозможного нет*. Скорей всего эта подспудная вера и погнала его сюда, в «зону», обманно приняв личину долга, чувства вины и обострившейся ностальгии.

Нет, его старая нянька не должна умереть – ведь он нуждается в её помощи! В её волшебных руках. В её нежности. Какая трагическая нелепица! – думал он, – чем заскорузлее, грубее, суше становится наш облик, тем уязвимее, чувствительней к боли, к *непониманию* – душа. Старики несчастны, как правило, не оттого, что впадают в немошь, – в ней, как и во всякой болезни, своя сладость, – но от сократившейся до смешного и всё убывающей способности внушать любовь. Увы, престарелые парочки, сюсюкающие перед зрителями из корысти или по недомыслию («так положено!»), – попытка обмануть бессердечного бога. Он одинаков со всеми: сначала расправляется с душами, потом с телами. Умереть счастливым – значит умирать уверенным в искренности горьких чувств, которые отражаются на лицах, обступивших тебя в преддверии ухода.

Жена, дети, внуки... Что говорить, они устали от его болезни. А ведь нет более верного средства, чем усталость... Когда он будет умирать (когда?), к горечи непременно примешается облегчение, а после – оно зальёт и быстро залечит раны, которые по нашему эгоистическому разумению были бы должны кровоточить – всегда.

Няня... Вот кто будет опечален глубоко и безо всяких «но». (Сейчас он почему-то подумал о ней так, будто наверняка знал: *жива*. Может быть, *в преддверии*, подумал он, становятся ясновидцами?) Одна из сонма безвестных, на ком «стоит русская земля». Чьими руками держится.

Боль отступала, стекая к ногам. Он ждал когда она уйдёт совсем, чтобы сделать после того ещё одну попытку, последний рывок. И пока ждал, солнце склонилось так, что высветило деревню сбоку, сделав необычайно рельефным пойменный скат: только теперь на нём проступили, темнея, бывшие тропы, ныне заросшие травой. А исчезнувшая тень от прибрежных кустов разоблачила *пустоту*: там не осталось ни одного стирального мостка, и лишь одна единственная лодчонка лепилась к берегу у покосившегося полузатопленного причала.

Он почувствовал, что погружается в дрему и не препятствовал ей. Ведь он решил не возвращаться сегодня. Если бы удалось поспать... На него всегда благотворно действовал сон. Уже на грани, ломающей очертания мира дрожанием смыкающихся век, ему почудилось какое-то шевеление там, на деревенской улице. Но то, как по склону стала спускаться женщина в каком-то чёрном бесформенном облачении, напоминающем отдалённо монашеские одежды, – этого он уже не видел: спал.

Проснулся же от внутреннего толчка. Или от того, что тень легла на лицо. Открыл глаза. Долго не мог понять где он, что происходит, зачем... А когда нахлынуло, различил наконец в шаге перед собой монументальную, возвышающуюся изваянием человеческую фигуру в ниспадающих до земли чёрных одеждах, и, поскольку не совсем ещё отрешился от сна, сказал себе: *смерть пришла*. (Но почему не звенит коса? – следом подумал, и это уже было от мира сего.)

Ксения Фролова не была ясновидицей, просто-напросто большую часть дня она просиживала на скамеечке перед окнами своего накренившегося, посунувшегося к улице, будто лошадь, ставшая на колени, дома и смотрела на противоположный берег реки, на опушку леса (одновременно тем захватывая деревенскую улицу, по которой теперь никто не ходил, если не считать кого-то из десятка стариков, предпочёвших скорую смерть участи беженца) – смотрела на тот едва различимый прогал, что значил собой устье дороги, приходящей из «мира

живых», – она, впрочем, думала другими словами, а чаще – *воспоминаниями*. Перед ней как бы разматывался длинный свиток, на котором рисовались картины *той* жизни, жизни, всецело поглощённой трудом от глубокой зарубки страха на сердце, происшедшей когда отец сказал, что «пора в люди», до отметки-пенсии, принесшей «свободу и независимость». Двенадцатилетней девчонкой её привезли в город и отдали в услужение старшему – сводному – брату, к тому времени уже успевшему «стать на ноги» и обзавестись своим собственным маленьким делом в почтенной купеческой среде. Она пестовала братниных детей, быв ненамного старше их, а когда пришла пора влюбиться, она и влюбилась – в того же брата, потому что не было для неё человека добрее, умнее, красивее чем он; а ступив душой на эту запретную землю, поняла: надо уйти. Тогда она пошла и нанялась на казённое предприятие с чудным названием «Стеклография» и немного хлебнула рабочей жизни, продолжая, впрочем, оставаться хозяйкой в своей маленькой отдельной комнатке в доме, где размещалось «дело» – магазин, трактир, швейная мастерская. Но не прошло и года как разразилась «освободительная революция», дело отобрали вместе с домом, и ей пришлось поселиться в «общежитии» – но об этом периоде она не любила вспоминать, он выпал из её памяти, как выпадает всё страшное, чтобы дать возможность телу жить дальше. А дальше она вернулась. От перенесенных бед и лишений брат состарился, теперь он занимал с женой и дочерью две комнаты в «коммуналке», и то благо – что не сослали, и миновала «паспортизация», погубившая много невинных, – но жизнь для него в сущности была кончена, и он, поняв это, поторопился умереть. За ним последовала жена (так и не узнавшая, что была когда-то соперницей для «прислуги»), а дочь вскоре вышла замуж и родила сына. Ксения Фролова хорошо запомнила этот день – первое декабря 1934 года – потому что он, по странному стечению обстоятельств совпал с убийством какого-то (она уж не помнила какого) «большого человека» и стал, говорят, недоброй вехой. Он вернул её в няньки, каковой она и была прежде у дочери своего возлюбленного брата, – с ней она теперь чувствовала себя скорее старшей сестрой, подругой, но чтобы заслужить пенсию с немалыми хлопотами оформилась прислугой и даже завела трудовую книжку для исчисления «стажа».

Она всей душой привязалась к мальчику. Её несостоявшееся материнство обратилось глубоким душевным порывом лелеять, оберегать, воспитывать *их* единственного ребёнка, и она отдала ему лучшие годы своей женской зрелости, сначала не отходя ни на шаг, не покидая ни на день, а потом, позже, только раз в году, в один из летних месяцев уезжая в деревню – «поправить здоровье», иногда они ехали сюда вместе, и это были её лучшие дни. мальчик рос болезненным, но деревенский воздух, солнце, река, лес наливали его спелым яблочком, изгоняя ненавистный бронхит, что зимой, нападая внезапно и захватывая часто лёгкие угрожающим воспалением, отступал единственно перед волшебством её рук. Она знала их силу и радовалась тому, что может употребить её с такой великой пользой. Возможно, ничего более важного её руки не совершали за всю их многотрудную жизнь – ведь они по-настоящему не обрабатывали землю, а только это наверно может сравниться по важности с делом целительным. Конечно, если бы земля... Но её никогда не было, земля никогда им не принадлежала. В колхозе упорно изводили её чередой председателей-пьяниц, невежд-агрономов и начальственных окриков из «района». Она бы искренне удивилась, если бы ей сказали, что на таких, как она, «стоит русская земля». Русская земля, сколько помнилось, стояла в бесхозности, не поймёшь на ком, на чём, как бы и не стояла вовсе, а находилась в подвешенности, и потому наверно теперь её так легко и жестоко добились – по меньшей мере здесь, на родине...

Они бы ничего и не знали, если б однажды после дождя, принесенного какой-то зловещей, жёлтой с багровым оттенком тучей, не пожухла во дворах зелень, а на следующий день пришли с десятков тяжёлых военных грузовиков и всем объявили: *эвакуация*. Это слово застряло в памяти ещё с войны, оно значило бегство, отъезд, уход в иные края, где конечно же никто не ждёт и не будет рад твоему визиту; однажды ей пришлось это познать на собственном опыте, сорок лет назад, она была ещё молода, и все они верили в скорое возвращение.

Но теперь... Она бы наверно и тогда не тронулась с места, если б не мальчик его увозили и тем лишали столь необходимых ему исцеляющих рук, её рук – без них, она знала, он не выживет.

Вот и руки стали уже не те...

Вся родня, населявшая дом, тогда уехала, – все, кто был ещё довольно молод, чтоб не страшиться «эвакуации», и кто спасал детей от неожиданной напасти. Старики же, будто сговорившись, попрятались по подвалам, а когда истаял вдаль моторный рык, вышли на поверхность и продолжили жить. Старики ведь и живут ожиданием смерти, так что ничего особенного, на их взгляд, не произошло, если не считать, что смерть обрела теперь некую конкретность: никто не мог толком сказать откуда, но все знали, как она явится, и когда кто-нибудь начинал чувствовать непреодолимую слабость, он просто ложился и умирал, и они хоронили его всем – оставшимся – миром.

На три деревни их оставалось сегодня пятнадцать душ.

В их жизни мало что изменилось. За продуктами изредка выбирались в трубинское селпо, там же на почте получали грошёвые пенсии или переводы от родственников, письма и сами иногда писали. Ксения Фролова бросала в почтовый ящик свои «кресты», а когда они кончились и вовсе перестала «писать».

Но не перестала ждать. Сидела перед домом или у окна и смотрела на лес. После «эвакуации» никто больше не приходил и не приезжал сюда, и когда за ненадобностью обрушился мост, они стали переправляться на лодке, которую совместно поддерживали на плаву – конопатили, смолили, и если б кто вышел из леса, надо было переправить его на этот берег; лодка была привязана прямо перед её избой; но за четыре года её «дежурства» так никто и не появился.

В это трудно поверить, но в свои без малого сто лет Ксения Фролова обладала молодыми глазами, одинаково хорошо видящими вдаль и когда перебирала крупу, отделяя плевелы от чистых зёрен. В тот день ей почудилось, что в лесу произошли какие-то изменения: то ли тень легла там, где раньше не было, то ли изменился «рисунок» – берёзовый лиственный узор у подножья хвойных, – она подумала даже, не зверь ли какой выбрался из чащи и остановился у края, не решаясь объявиться на свет. Так или иначе, проснувшееся беспокойство требовало выхода, она спустилась к реке, отвязала цепь, подтянула нос лодки к низенькому причалу и с лёгкостью давней привычки перешагнула борт. Она даже не села, не взяла вёсел; через минуту её вынесло к отмели на другом берегу. Обратный путь, против течения, будет, она знала, труднее и займёт времени много больше, но чего уж там спешить обратно, и то хорошо, что дело, а кроме этого ей давно хотелось пройти по тому лесу посмотреть свои грибные места. Впрочем, редко кем собираемые, грибы заполонили окрестности, достигая подчас гигантских размеров и обретая черты совершенно незнакомых пород. Говорили – «последействия». Ещё на Городёнке родился телёнок о двух головах. Деревенские куры после эвакуации хозяев начисто облысели и нанесли яиц, из которых вылупились какие-то диковинные птицы, больше похожие на тетёрок. Когда страшная сказка приключается наяву, к ней привыкают так же быстро, как привыкают дети – не бояться, перечитывая какую-нибудь в красивой книжке.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.